

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Ирина Паперно



Ольга Фрейденберг

«ОСАДА
ЧЕЛОВЕКА»

ЗАПИСКИ ОЛЬГИ ФРЕЙДЕНБЕРГ
КАК МИФОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ СТАЛИНИЗМА

Ирина Паперно
«Осада человека». Записки
Ольги Фрейденберг
как мифополитическая
теория сталинизма
Серия «Научная библиотека»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69367540

*«Осада человека». Записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма: Новое литературное обозрение; Москва; 2023
ISBN 9785444821786*

Аннотация

Классический филолог и теоретик культуры Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955) оставила огромный корпус автобиографических «записок», по сей день не опубликованный. История жизни, совпавшей с революцией, двумя мировыми войнами и террором, – это бытовая хроника, написанная исследовательницей, которая стремится понять и объяснить читателю будущего ту форму правления, при которой ей довелось жить. Ирина Паперно поставила перед собой задачу не только создать путеводитель по страницам хроники, но и реконструировать политическую теорию сталинизма, которую О.

М. Фрейденберг последовательно (хотя и не всегда эксплицитно) разрабатывала в своих «Записках», – теорию, сравнимую с тем, что в другой форме создала Ханна Арендт. Книга адресована не только ученым-гуманитариям, но и широкому читателю, размышляющему, как люди живут, когда власть проникает «в самое сердце человека, удушая и преследуя его везде, даже наедине, даже ночью, даже в своем глубоком „я“». Ирина Паперно – филолог, историк культуры, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. НАЧАЛО	27
3. БЛОКАДА (1941–1945)	37
«Как мы жили? Как мы прожили эти годы?»	38
«Голод и полная отмена цивилизации»	52
«Глотать и испражняться он вынужден был по принуждению...»	59
«Зависимость, голод – и непосильное обязательство по гроб!»	62
«Советская Тиамат»	66
«Сталинский кровавый режим и слепота матери замучили, как в застенке, мою жизнь»	72
«Наша драма была в том, что нас заперли и забили в общий склеп»	84
«Только катастрофа могла вывести нас из этой преисподней»	90
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Ирина Паперно «Осада человека». Записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма

1. ВВЕДЕНИЕ

«МЕЖДУ НАУЧНОЙ ТЕОРИЕЙ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВОСПРИЯТИЕМ ЖИЗНИ»

С самых ранних дней детства, как только во мне проснулось сознание <...> у меня было чувство <...> что все то, что находится во мне и вне меня, не исчерпывается собой, а имеет значение (I–II, 1)¹.

¹ Здесь и далее записки Фрейденберг цитируются по машинописным копиям, находящимся в архиве Гуверовского института в Калифорнии: *Freidenberg O. Memoirs, holograph and typescript (Books 1–34). Pasternak Family Papers. Hoover Institution, Box/Folder 155–159*. Ключевые цитаты выверены по рукописным тетрадам. При цитировании указаны номера тетради (римскими цифрами),

Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955) написала эти слова на первой странице своих записок, когда работа уже подходила к концу. Она пояснила, что при других обстоятельствах могла бы стать религиозной, но, родившись в секулярной еврейской семье, выбрала другой путь – литературу. В отличие от двоюродного брата, Бориса Пастернака, Фрейденберг не обладала талантом писателя. Она стала филологом. Когда Фрейденберг размышляла о своей с детства усвоенной логомании («чувство, что все <...> имеет значение»), к концу подходила и ее карьера профессора классической филологии в Ленинградском университете.

Презумпция смысла была свойственна гуманитарной мысли на рубеже двадцатого века. Достаточно вспомнить о герменевтике Вильгельма Дильтея. «Жизнь» или «переживание жизни» (die Erlebnisse) получают «выражение» и «объективируются» в формах культуры и искусства, и именно человек искусства в своей способности дать выражение жизненному опыту является подлинно живущим. Но что же делать человеку, которому отказано в художественном таланте? Такому человеку остается путь «дешифровки» выраже-

главы (после двоеточия) и страницы (после запятой). В тетради I–II (где главы нумерованы по-другому) привожу только номера страниц; так же и в тетрадях XXXIII и XXXIV, где главы не нумерованы. Сохранены особенности правописания и пунктуации оригинала. Я глубоко признательна Ann Pasternak Slater и Елене Владимировне Пастернак за предоставленную мне возможность работать с рукописями и фотокопиями еще до их поступления в Гуверовский институт.

ний опыта. В этом качестве историк или филолог становится художником второй руки, способным к повторному переживанию (*das Nachleben*) жизни. Так описала герменевтический метод Ханна Арендт в эссе «Дильтей как философ и историк» (1945)². В 1945 году, находясь в эмиграции в Нью-Йорке, Арендт смотрела на эти гуманистические представления с позиции человека эпохи Гитлера и Сталина. В это время она начинала работать над анализом тоталитаризма.

Арендт пишет о понятии жизни, исполненной смысла и доступной пониманию благодаря усилиям искусства или истории, с горькой иронией. Слова Фрейденберг, написанные в 1947 году, лишены иронии. Едва пережив блокаду, она сомневалась, что ей удастся пережить и идеологические чистки, начавшиеся тогда в Ленинградском университете. Для Фрейденберг вера в осмысленность жизни и в свою способность интерпретировать были не только научным методом, но и стратегией выживания.

В наше время Фрейденберг, которой мало удалось напечатать при жизни, привлекает все больше внимания как оригинальный и еще не вполне оцененный теоретик культуры, разработавший самобытную концепцию мифа и особую методологию³. Как классический филолог она нашла и сторон-

² *Arendt H. Dilthey as Philosopher and Historian // Essays in Understanding. New York: Schocken Books, 1994. P. 137.*

³ Краткий обзор жизни и научного наследия Фрейденберг: *Braginskaya N. Olga Freidenberg: A Creative Mind Incarcerated // Women Classical Scholars: Unsealing the Fountain from the Renaissance to Jacqueline de Romilly / Ed. by R. Wyles and*

ников, и противников⁴. В последние годы немало писали о парадоксах посмертной репутации Фрейденберг – о запоздалом признании, при котором ее идеи оказались предвестиями открытий других; о том, как трудно критиковать концепции автора такой трагической судьбы; о столкновении поклонников и хулителей⁵.

Помимо научного наследия, к настоящему времени представленного в печати (главным образом благодаря усилиям Н. В. Брагинской), Фрейденберг оставила огромный корпус «человеческих документов», по сей день почти не опубли-

E. Hall. New York: Oxford University Press, 2016. P. 286–312; *Брагинская Н. В.* «У меня не жизнь, а биография» // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 11–38. См. также монографию: *Perlina N.* Olga Freidenberg's Works and Days. Bloomington, Indiana: Slavica, 2002. Биографический материал, библиографию трудов Фрейденберг и исследований о ней см. на сайте: Электронный архив Ольги Михайловны Фрейденберг: <http://freidenberg.ru/Vход>. Сайт курируется Н. В. Брагинской и Н. Ю. Костенко.

⁴ Заметим, что враждебность по отношению к Фрейденберг сохранилась на кафедре классической филологии Петербургского университета и по сей день. В кратком очерке истории кафедры, которой она заведовала с 1932 по 1949 год, помещенном на официальном сайте филологического факультета, вовсе не упоминается ее имя. См.: <http://phil.spbu.ru/o-fakultete-1/struktura-fakulteta/kafedry/klassicheskoi-filologii> (дата обращения: 01.09.2022).

⁵ С разных позиций о парадоксах репутации Фрейденберг писали: *Брагинская Н. В.* Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об античном романе. М.: ГУ ВШЭ, 2009. *Tihanov G.* [Review of] *Mythopoetic Roots of Literature* by Olga Freidenberg, ed. by Nina Braginskaia and Kevin Moss // *The Slavonic and East European Review*. Vol. 77. № 1 (Jan., 1999). P. 160–162; *Tihanov G.* Framing Semantic Paleontology: the 1930s and beyond // *Russian Literature*. 2012. Vol. 72. Issue 3–4. P. 361–384.

кованный. Через много лет после ее смерти в архиве Фрейденберг обнаружили 34 рукописные тетради автобиографической хроники под общим названием «Пробег жизни»⁶. В процессе писания она называла этот документ – отчасти воспоминания, отчасти дневниковые записи – записками.

Фрейденберг начала свои записки зимой 1939/40 года, описав детство, отрочество и юность, или «автобиографию», с 1890 до 1917 года. Она начала новую тетрадь в мае 1942 года, чтобы описать блокаду Ленинграда, сначала ретроспективно, потом в форме дневника, прервала свою хронику в апреле 1944 года (после смерти матери) и возобновила в июне 1945-го, чтобы рассказать об окончании войны. Ей кажется, что и она не пережила войну, и она пишет с позиции мертвеца, насильно возвращенного к жизни, пишет, «чтоб только донести до чернил и бумаги рассказ о сталинских днях» (XXI: 6, 11). Вскоре она понимает, что не в силах писать, и возобновляет записки через два года. Между 1947 и 1950 годом она регулярно вела записи, документируя репрессии в Ленинградском университете для будущего историка (как и в блокаду, писала по ходу событий или по их све-

⁶ Подробное описание текста записок см. в: *Костенко Н. Ю. (Глазырина). Проблемы публикации мемуарного и эпистолярного наследия ученых: По материалам личного архива проф. О. М. Фрейденберг: Дипломная работа. М.: РГГУ, 1994. URL: <http://freidenberg.ru/Issledovanija/Diplom> (размещено на сайте: 2009; дата обращения: 28.08.2022). Костенко Н. Ю. «Я не нуждаюсь ни в современниках, ни в историографах»: История архива Ольги Фрейденберг // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 117–127.*

жим следам). В 1948–1949 годах, чтобы «заполнить лакуну», она написала воспоминания о своей жизни от поступления в университет в 1917/18 академическом году до начала войны в 1941-м. Одновременно она продолжала описывать события дня, так что хроника настоящего и воспоминания о прошлом писались параллельно. В декабре 1950 года Фрейденберг после нескольких попыток поставила точку под своей хроникой. В это время она покинула университет. Написанные в течение десятилетия, в сложной временной перспективе, записки охватывают почти всю жизнь Фрейденберг и большую часть истории двадцатого века.

Есть все основания считать, что главной частью и центральным ориентиром записок является хроника ленинградской блокады – девять тетрадей под названием «Осада человека». Когда Фрейденберг завершила свои записки, история всей ее жизни была ориентирована по оси «после блокады» и «до блокады».

Образ блокады приобрел для Фрейденберг символический смысл: это было воплощение «советского строя». Блокадный день, многократно описанный в дневниковых записях, виделся ей как «простой обыденный советский день» (XXVIII: 18, 78), а блокада, или «осада», стала своего рода полевым опытом жизни в сталинском государстве.

Записки исполнены внимания к «методу» (Фрейденберг часто употребляет это слово).

Так, Фрейденберг вполне сознательно применяла ходы

той методологии, которую она разработала в своей научной деятельности, «генетическую семантику»⁷. Она описывала свою жизнь через метафоры, символы и мифологические сюжеты и нередко видела свое настоящее как возвращение прошлого, а прошлое как прообраз настоящего. Метафора была для нее способом мышления: «я думала метафорами. Каждая мысль бессознательно опрокидывалась для меня образом» (XXVI: 80, 76).

Установка на научный метод в описании собственной жизни была вполне сознательной. Во время блокады (думая ночью «о себе и о науке») она сформулировала свое жизненное отношение: «я никогда не могла ставить перегородок между научной теорией и непосредственным восприятием жизни; одно выражало другое» (XVI: 122, 17).

При общем единстве герменевтического подхода и генетического метода в разных частях своих записок Фрейдентберг прибегала к разным жанровым рамкам и стратегиям интерпретации.

«Автобиография» в двух тетрадах (№ I–II), сшитых в од-

⁷ В нескольких словах «генетический метод» предполагал погружение вглубь истории, выявляя в культурных формах образы, метафоры, сюжеты, укорененные в мифе, а затем возвращение к современности, отслеживая трансформации смыслов во времени, от мифа к фольклору и к литературе. Этот двойной ход выстраивает мир культуры, наделенный формой и исполненный значения. О генетическом методе см.: *Tihanov G. Framing Semantic Paleontology; Троицкий С. А. Генетический метод О. М. Фрейдентберг в исследовании культуры // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 39–60.*

ну, представленная как «вступление» или «увертюра» к жизни, когда начнется «настоящая любовь» (I–II, 179), была написана для ее тогдашнего возлюбленного – Б. Выдержанная в лирическом тоне, напоминающем о ранней прозе Пастернака, эта часть записок исполнена пафоса любви как «особого мироощущения», наделяющего жизнь («каждый пустяк») глубокой символикой (XI: 91, 201).

Блокадная часть (тетради № XII-bis–XX) – это дневник (порой «ретроспективный дневник»)⁸, подобный полевому дневнику этнографа, написанный с позиции антрополога – участника-наблюдателя, занятого описанием особого блокадного быта и осмыслением жизни в осажденном Гитлером городе в мифополитическом ключе: «Жизнь в преисподней, куда загнал человека кровавый спрут» (XIX: 163, 71). (Под кровавым спрутом она имеет в виду Сталина.) Это хроника ежедневной жизни в ситуации катастрофического голода и полной несвободы, когда «глотать и испражняться [человек] должен был по принуждению» (XIII: 37, 15), и каждая деталь бытовой жизни, каждая функция тела (добывание, приготовление и поглощение пищи, пищеварение и выделение) оказалась значимой.

Записки о блокаде (как и исполненные любви записки о начале жизни) насквозь пронизаны смыслом, причем это до-

⁸ Нина Перлина назвала блокадные тетради Фрейденаберг, в которых часть записей сделана через несколько месяцев после событий, «ретроспективный дневник» (*Perlina N. Olga Freidenberg's Works and Days*. P. 64).

кумент не только тотального семиозиса («все <...> имеет значение»), но и тотальной политизации. Это герменевтика, рожденная из опыта «осады человека», когда власть проникла в каждую клетку жизни – в теле, доме, городе.

Как покажет будущее, блокадный опыт оказался непреодолимым – и по силе травматического воздействия на человека, и по влиянию на метод интерпретации, в котором отныне будет преобладать политическое.

Записки послевоенного времени (тетради № XXI–XXXIV), как и блокадные записки, в основном написаны в форме дневника или ретроспективного дневника. Послевоенные записки также включают этнографические описания быта, выполненные в политическом ключе («быт был выдержан по-сталински» (XXVIII: 8, 49)). Как полагает Фрейденберг, «[г]осударство, с воцарением Сталина, выработало целую систему, в которой барахтался человек» (XXIII: 34, 20). Эта «продуманная система голода и унижения», «нарочитая система „трудностей“» представлялась ей как «террор бытовой» (XXVIII: 19, 84).

Вместе с тем после войны началась «небывалая даже у Сталина реакция»; «удушье началось такое, что никто не мог дышать – не одни люди науки и искусства, но любой человек» (XXV: 63, 9–10). Фрейденберг описывает и документирует (с приложением протоколов собраний и резолюций) пережитые ею идеологические чистки и репрессии в Ленинградском университете.

Начиная с блокады и во все послевоенные годы Фрейденберг кажется, что голод, разруха и бытовые трудности, как и идеологический контроль, были результатом «продуманной», «нарочитой», то есть преднамеренной, системы государственного подавления человеческой личности.

Мысль о будущем историке и размышления о природе «сталинской системы» пронизывают и воспоминания о жизни в 1917–1941 годах (тетради № III–XII), писавшиеся одновременно с хроникой 1948/49 года. В отличие от первой «автобиографии», с ее ориентацией на будущее, и от хроники с открытым концом, которую она вела в годы блокады и после войны, это история жизни (она называет эту часть записок своей «научной биографи[ей]» (XXXII: I, 27)), которая создавалась в остром сознании того, что последовало за событиями этих лет, и притом соотношенная с большой историей.

Послевоенные записки заключают в себе последовательно (хотя и не всегда эксплицитно) разрабатываемую теорию государства, которая восходит непосредственно к опыту блокады и к блокадным запискам. Как Фрейденберг решила уже после войны, «Гитлер и Сталин, два тирана, создали новую форму правления, о которой Аристотель не мог знать» (XXVIII: 7, 47), и она описывает и анализирует эту систему для историка и читателя будущего. Записки Фрейденберг – это хроника, стоящая на твердых теоретических основаниях.

Трудно сказать, входила ли разработка политической тео-

рии в намерения Фрейденберг, но даже если она не осознавала свою задачу таким образом, описывая, «как мы жили» (XVIII: 154, 79), она не только видит повседневность в политических терминах, но и применяет к жизненным ситуациям аналитические категории и концептуальные метафоры политической философии и мифологии.

Для Фрейденберг, филолога-классика, «политика» – это производное от греческого полиса. Организующей метафорой ее политической теории является концепт *corpus politicum* (*body politic*), введенный Платоном и Аристотелем и развитый Гоббсом. Фрейденберг активно пользуется образом единого тела государства-Левиафана и идеей войны всех против всех, приходя при этом к другим выводам, нежели Гоббс. Более того, проводя параллель между телом человека и телом общества, она анализирует воздействие государственной власти на тело человека. В современных терминах мы называем такой подход биополитическим.

В подходе и концептуальном аппарате Фрейденберг можно усмотреть много общего с западной политической философией ее времени: с понятиями и идеями Ханны Арендт, Вальтера Беньямина, Карла Шмитта, Лео Штрауса, Карла Лёвита и других авторов, занятых анализом политической ситуации в Германии, о которых, работая в «полной культурной изоляции» (XXVII: 83, 9), она едва ли могла знать. Тем более значительны эти странные сближения.

Диаметрально отличаясь в оценке происходящего

(Шмитт принял нацизм), эти авторы подходили к современной политике в антропологическом ключе – как к положению человека в социальном мире. Многие из них уделяли большое внимание роли мифологического мышления, пользуясь (в разных целях) образом государства-Левиафана⁹.

Особенно бросаются в глаза параллели между Фрейденберг и Ханной Арендт. Подобно Фрейденберг, Арендт настаивала, что государство Гитлера и Сталина («тоталитаризм») было «новой формой правления», которая «существенно отличается от всех иных форм политического подавления»¹⁰. Как и Фрейденберг, она была классиком по образованию, и для нее слово «политика» также непосредственно связывалось с греческими полисом и идеей *corpus politicum*, а в Гоббсе она видела теоретика тоталитарного государства *avant la lettre*. Во многих отношениях Арендт и Фрейденберг пришли и к сходным выводам.

Между Фрейденберг и ее современниками на Западе имеются и существенные различия. Фрейденберг выстраивала свою политическую теорию изнутри тоталитарного государ-

⁹ Существует большая научная литература о политической философии в Германии 1920–1930-х годов. О возрождении мифа и интересе к Гоббсу сошлемся в качестве примера на статью: *McCormick J. P. Fear, Technology, and the State: Carl Schmitt, Leo Strauss, and the Revival of Hobbes in Weimar and National Socialist Germany // Political Theory. Vol. 22. № 4. November 1994. P. 619–652.*

¹⁰ *Арендт Х. Истоки тоталитаризма [1951] / Пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева, Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седова. Послесл. Ю. Н. Давыдова. Под ред. М. С. Ковалевой, Д. М. Носова. М.: ЦентрКом, 1996. С. 597.*

ства и в некоторых отношениях (главным образом, в своем видении истории) думала по-другому. Более того, работая в единственно возможной в этих условиях форме – частной, тайной хроники, – она создала политическую теорию, неотделимую от наблюдений над своей повседневной жизнью, теорию-дневник, в которой организация быта предстает как модель работы государственной системы.

Записки Фрейденберг кажутся явлением редким, если не уникальным, среди известных нам документов ленинградской блокады и сталинских репрессий. Однако зачатки такого подхода можно найти в блокадных записках (тоже тайных) современницы Фрейденберг, ленинградского литературоведа Лидии Гинзбург. Хотя и не так последовательно, как Фрейденберг, Гинзбург старается осмыслить бытовой опыт блокады в терминах политической теории и смотрит на блокаду как на модель положения человека в ситуации террора¹¹.

¹¹ Заслуга анализа политической концепции, содержащейся в блокадных записках Лидии Гинзбург, принадлежит Ирине Сандомирской. См.: *Sandomirskaia I. A Politeia in Besiegement: Lidiia Ginzburg on the Siege of Leningrad as a Political Paradigm // Slavic Review. 2010. Vol. 69. № 2. P. 306–326; Сандомирская И. Блокада в слове: Очерки критической теории и биополитики языка. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 173–265. Она указала на сходство между Гинзбург и Фрейденберг (на основании отрывков в «Минувшем»): «Блокада в слове». С. 255, сн. 187; *A Politeia in Besiegement. P. 307 ft. 2, P. 317–318 ft. 38, 40. Анализ записок Гинзбург, проделанный Ириной Сандомирской, помог мне сформулировать смысл теорий Фрейденберг. Подробнее о параллелях между Фрейденберг и Гинзбург см. в главах «Блокада» и «О мифополитической теории Ольги Фрейденберг».**

По всей видимости, Фрейденберг не знала не только о Ханне Арендт, но и о тех идеях, которые в то же самое время разрабатывала в своих записных книжках Лидия Гинзбург, хотя они жили на одной улице, в 350 метрах друг от друга, на противоположных сторонах канала Грибоедова¹².

Следует задуматься и о разобщении, или одиночестве, которое создало сталинское государство, и о том, что, несмотря на культурную изоляцию (о которой много пишет Фрейденберг), разные люди независимо друг от друга приходили к сходным выводам. С нашей точки зрения, это свидетельствует и о социальной разобщенности, и об общности мысли – прочнейшей из связей среди людей.

В военные и послевоенные годы Фрейденберг считала ведение тайной хроники «долгом перед историей». Она не раз обращается к непонятливому будущему историку: «Историк не поймет, как население могло выносить подобную систему подавлений и насилий. Так вот, я ему отвечаю...» (XXXII: IV, 77) Она вполне сознает опасность ведения таких записок: «И хоть я не знаю, увидят ли они свет (кто их спрячет? Куда?), я не хочу отказаться от того, что я считаю своим долгом перед историей. <...> Лучше рисковать жизнью, но тайно писать» (XXXII: I, 45).

¹² По всей видимости, Фрейденберг и Гинзбург не общались друг с другом, но у них были общие друзья и враги (Б. М. Эйхенбаум, В. В. Пропп, В. М. Жирмунский, Г. А. Гуковский, М. Л. Тронская и др.). Тронская, которую Фрейденберг считала своим врагом на факультете, с детских лет была приятельницей Гинзбург, она упомянута в записях и Гинзбург, и Фрейденберг.

Фрейденберг сочла необходимым упомянуть (в скобках) и о недостатках записок, которые были ей дороже жизни: «Да, я еще забыла рассказать об одной вещи (мои записки свободны от принуждения, сбивчивы, непоследовательны и написаны бедным языком, отражая утомленный и обедненный мозг)» (XXVII, 83, 12–13).

Владея даром наблюдения, описания и формулирования, Фрейденберг действительно отнюдь не всегда пишет хорошо. В записках то и дело встречаются повторения (порой навязчивые), многословие, длинноты, сбивчивость, поспешный и бедный язык. Она часто писала быстро и всегда без черновика.

(Признаюсь, что в этой книге я в основном привожу примеры мастерского письма, замечательных описаний, блестящих формулировок, которые не вполне адекватно представляют весь текст записок длиной более чем в две тысячи машинописных страниц.)

Написанные тайно (и в этом смысле свободные от принуждения), записки Фрейденберг свободны и от соблюдения некоторых конвенций хорошего тона.

В своих моральных суждениях она бывает безжалостной и к себе, и к другим (что неприятно поразило некоторых из читавших опубликованные в отрывках записки 1940-х годов). Она включает отвратительные детали, которые нечасто встретишь даже и в интимном дневнике.

Отчасти это можно объяснить позицией антрополога. Так,

в хронике блокады, как и надлежит этнографу, Фрейденберг описывает «структуру» и «функции» тела (и своего собственного тела) в ситуации голодания, включая постоянные поносы. Она описывает дом и город, покрытые экскрементами. Документируя чистки в Ленинградском университете, она описывает, не гнушаясь подробностями, склоки и интриги на кафедре, в которых видит «стоки советских академических нечистот» (XXV: 71, 43). В безжалостной хронике советского быта, будь то блокадный или послевоенный день, человек предстает «в неубранном естестве» (XXVIII: 17, 78) – фраза Фрейденберг, не стеснявшейся показать человека со спущенными штанами и в прямом, и в переносном смысле. Под ее пером хроника повседневности, во всей своей непривлекательности, получает символическое и теоретическое осмысление, обращается в этнографию, историографию, политическую теорию. Как этнограф Фрейденберг выступает в двойственной роли наблюдателя и участника, и немудрено, что порой и она может показаться читателю в неприглядном виде.

Мы, далекие потомки, не можем поставить под сомнение ни ее восприятие жизни, какой бы непривлекательной ни казалась открывающаяся картина, ни тот высокий пафос истории, который подлечит запискам, писавшимся с риском для жизни. Но роль читателя-исследователя состоит и в том, чтобы подвергать документы анализу и интерпретации.

Написанные человеком, жившим в эпоху Гитлера и Ста-

лина, записки отражают и утомленный мозг измученного автора. И в этом состоит их ценность как документа – свидетельства об эпохе, «непревзойденной по масштабам давления власти на человека и по крепости его ответной стальной закалки»¹³.

Едва ли будет преувеличением сказать, что записки Фрейденберг – история жизни, совпавшей с революцией, двумя мировыми войнами и сталинским террором, и бытовая хроника, написанная исследовательницей культуры, которая теоретизировала свое переживание и восприятие жизни, представляют собой один из самых замечательных человеческих документов двадцатого века.

Ко времени ее смерти в 1955 году архив Фрейденберг был упакован в железный сундук, в котором он пролежал в квартире ее наследницы, Русудан Рубеновны Орбели, до начала 1970-х годов.

История архива сама по себе свидетельствует и о времени, в котором он создавался, и о нашем времени, и заслуживает внимания.

По одной версии, первым, кто открыл этот сундук, был Ю.

¹³ Заимствую формулировку А. К. Жолковского, которую он применил к Анне Ахматовой: *Жолковский А. Анна Ахматова пятьдесят лет спустя* // Звезда. 1996. № 9. С. 227.

М. Лотман. В 1973 году он опубликовал в «Ученых записках Тартуского университета» три статьи «из научного наследия О. М. Фрейденберг», сопроводив их своим предисловием, в котором назвал Фрейденберг предтечей семиотического метода¹⁴. Архивом заинтересовалась семья Пастернаков. Тогда же Н. В. Брагинская обнаружила на дне сундука переписку Ольги Фрейденберг с Борисом Пастернаком¹⁵. Опубликованная по-русски в Нью-Йорке в 1981 году, эта переписка была переведена на несколько языков и привлекла большое внимание. В России переписка публиковалась (в различных изданиях) начиная с 1988 года¹⁶.

В середине 1970-х годов записные книжки Фрейденберг были переданы семье Пастернаков в Москве, перепечатаны на машинке (в объеме более чем 2400 страниц) и переправлены в домашний архив семьи Леонида Пастернака в Оксфорде. С 2015 года записки находятся в Гуверовском институте при Стэнфордском университете в Калифорнии и доступны для исследователей.

¹⁴ Лотман Ю. М. О. М. Фрейденберг как исследователь культуры // Труды по знаковым системам – 6. Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 308. Тарту, 1973.

¹⁵ Брагинская несколько раз рассказывала о своей находке, в последней раз в: Брагинская Н. В. «У меня не жизнь, а биография». С. 13.

¹⁶ Первая публикация переписки: Пастернак Б. Переписка с Ольгой Фрейденберг / Под ред. и с коммент. Э. Моссмана. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981. Среди российских публикаций особой тщательностью отличается: Пастернак Б. Пожизненная привязанность: Переписка с О. М. Фрейденберг / Сост., вступл. и примеч. Е. В. и Е. Б. Пастернак. М.: Арт-Флекс, 2000.

Когда переписка Ольги Фрейденберг и Бориса Пастернака была подготовлена к печати (это сделали Евгений Борисович и Елена Владимировна Пастернак, но их имена по понятным причинам не были указаны при первых публикациях в тамиздате), многочисленные отрывки из записок Фрейденберг использовались в качестве соединительной ткани между письмами.

В течение 1980-х годов в эмигрантской печати были опубликованы два фрагмента, исполненные острого политического содержания: о блокаде и о репрессиях в Ленинградском университете в 1946–1948 годах. На публикации стояло имя «Невельский», за которым скрывалась Юдифь Матвеевна Каган, классический филолог из Москвы (дочь философа Матвея Кагана, члена Невельского кружка Бахтина)¹⁷.

В 2012 году записки Фрейденберг были использованы в документальном труде Петра Дружинина «Идеология и филология», посвященном репрессиям в Ленинградском университете в конце 1940-х годов¹⁸. Дружинин цитировал послевоенную хронику Фрейденберг, в частности ее резкие суждения о поведении коллег, оказавшихся объектом чисток и проработок, в качестве комментариев к опубликован-

¹⁷ *Фрейденберг О. М.* Осада человека / Публ. К. Невельского // *Минувшее: Исторический альманах*. Paris: Atheneum, 1987. Вып. 3. С. 7–44; *Фрейденберг О. М.* Будет ли московский Нюрнберг? (из записок 1946–1948) // *Синтаксис*. Париж. 1986. № 16. С. 149–163.

¹⁸ *Дружинин П. А.* Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы: Документальное исследование: В 2 ч. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

ным им документам. Вокруг этого разгорелась дискуссия, в ходе которой достоверность мемуарных свидетельств Фрейденберг, а также ее моральный облик и научная состоятельность стали предметом страстной полемики. Нападки поступили со стороны филолога-классика из Ленинградского университета Ирины Левинской, которая почувствовала необходимость заступиться за учителей и коллег, представленных в записках в неприглядном виде. Левинская заявила, что Фрейденберг была склонна считать «доносчиками и интриганами» своих соперников по науке. Брагинская ответила, что Фрейденберг – «один из самых чистых людей, каких я знала, и нет никого, кто мог бы по праву бросить в нее камень». Она также признала, что больше сорока лет держит текст записок «под спудом», отчасти из страха такой реакции, «[н]о теперь время пришло». Тогда, в августе 2013 года, Брагинская сообщила, что весь текст записок «выложен на сайте „Архив Фрейденберг“ под паролем и может быть открыт в один день»¹⁹.

¹⁹ *Левинская И.* О филологии без идеологии: Реплика по поводу двухтомника П. А. Дружинина «Идеология и филология» // Звезда. № 8. 2013; *Брагинская Н. В.* Дух записок: реплика Н. В. Брагинской по поводу интеллектуального наследия О. М. Фрейденберг и книги П. А. Дружинина «Идеология и филология» // Гефтер [Электронный ресурс]. Электрон. ж-л. 2013. 16 авг. URL: <http://gefter.ru/archive/9736> (дата обращения: 21.04.2016). Обе части полемики были также помещены на сайте «Нового литературного обозрения»: Ирина Левинская vs Нина Брагинская: полемика по поводу книги Петра Дружинина «Идеология и филология». URL: <http://www.nlobooks.ru/node/3659> (дата обращения: 21.04.2016). (При попытке доступа 28 августа 2022 года обе публикации реплики Брагинской

Этот эпизод не только позволяет поставить вопрос о статусе дневников и мемуаров как исторического свидетельства, но и показывает эмоциональное напряжение, которое вызывают такие свидетельства у членов сообщества, даже двумя поколениями позже.

По сей день записки Ольги Фрейденберг остаются закрытыми «под паролем».

Предлагаемая читателю книга задумана как опыт чтения (интерпретации) записок Ольги Фрейденберг. Она адресована не только коллегам, ученым-гуманитариям, для которых Фрейденберг представляет интерес как исследователь и теоретик культуры, но и читателю, размышляющему о том, как «мы жили» (и как жить) под осадой, когда власть (как однажды написала Фрейденберг) пробирается «в самое сердце человека, удушая и преследуя его везде, даже наедине, даже ночью, даже в своем глубоком „я“» (XIV: 106, 109).

Смею надеяться, что когда записки будут наконец опубликованы и доступны читателю (о чем мечтала Фрейденберг), моя книга сможет послужить путеводителем по страницам этой гигантской хроники.

Особое внимание будет сосредоточено на хронике ленинградской блокады и послевоенных репрессий, и в мою задачу

оказалась недоступными.)

входит проявить ту политическую теорию сталинизма, которую Фрейденберг разрабатывала (пусть и не всегда осознанно) в записях о своей повседневной жизни.

Это теория, выстраданная как опыт и запечатленная в человеческом документе.

2. НАЧАЛО «ВСЕ ПЕРЕЖИТОЕ БЫЛО ТОЛЬКО ВСТУПЛЕНИЕМ И УВЕРТЮРОЙ» (1890–1917)

Фрейденберг написала первую «автобиографию» зимой 1939/40 года для своего тогдашнего возлюбленного Б. (женатого коллеги). (Она писала, не зная, могла ли надеяться на взаимность.)

По жанру это именно автобиография, а не воспоминания или дневниковая хроника, – повествование о детстве, отрочестве и юности (до университета). Когда в 1947 году Фрейденберг собрала воедино свои записки, автобиография в двух тетрадах (пронумерованных I и II и сшитых в одну) легла в основу ее хроники²⁰.

²⁰ Тетрадь I–II имеет общее название «Самое главное» (на титульном листе) и разбита на четыре главы, снабженные заголовками; главы разбиты на пронумерованные секции: 1. Первая глава (название неразборчиво в рукописной тетради, возможно «Юбилей на бумаге»; в машинописи – без названия), 1–24 (нумерация начинается со второй секции); 2. Новая глава (1–16); 3. Третья глава (1–38); 4. Война (1–25). Нумерация страниц в машинописи сплошная. Цитируя тетрадь I–II, привожу номера страниц, но не номера глав. Н. Костенко высказала мнение, что только первая глава была написана в 1939–1940 годах (*Костенко Н. Ю. (Глазырина)*). Проблемы публикации мемуарного и эпистолярного наследия ученых: По материалам личного архива проф. О. М. Фрейденберг: Дипломная работа.

Она описывает свое детство, отрочество и юность как пространство всеобъемлющей любви, в первую очередь со стороны матери: «[Я] росла <...> среди океана материнской любви» (I–II, 5а). (Позже, в хронике зрелых лет, Фрейденберг изображает эмоциональную связь с матерью как главный стержень своей жизни.) Описывает семью: отец, «самоучка, не получивший никакого образования», «выдающийся европейский изобретатель»; «был грешен своими страстями» (I–II, 26–27); преданная мать, «гордая, взбалмошная, горячая»; «она требовала и хлопотала» (I–II, 24, 36); брат Сашка, выпадавший из всех рамок и норм; семья дяди, старшего брата матери, художника Леонида Осиповича Пастернака, с которой их связывала особая дружба²¹.

Первые главы содержат образы, сцены, ощущения, пере-

М.: РГГУ, 1994. URL: <http://freidenberg.ru/Issledovaniya/Diplom2009> (дата обращения: 28.08.2022)). В более поздней работе о записках Костенко не ставит под сомнение датировку первых двух тетрадей (*Костенко Н. Ю.* «Я не нуждаюсь ни в современниках, ни в историографах»: История архива Ольги Фрейденберг // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 117–127). Я не вижу твердых оснований усомниться в датировке и следую за версией самой Фрейденберг: основной текст написан с ноября 1939 года (один из фрагментов первой тетради датирован 11 ноября 1939-го) по 11 февраля 1940 года (дата на последней странице).

²¹ Отец Фрейденберг – Михаил Филиппович Фрейденберг (1858–1920) – изобретатель и журналист; мать – Анна Осиповна Фрейденберг, урожденная Пастернак (1860–1944). Братья – Александр Михайлович Фрейденберг, позже Михайлов (1884–1938) (он менял фамилию), и Евгений (умер в 1901 году от аппендицита в возрасте 14 лет). Дядя – художник Леонид Осипович Пастернак (1862–1945), отец Бориса Пастернака.

живания, восстановленные из клочков воспоминаний. Анализируя отдельные моменты, Фрейденберг делает обобщения об их значении: это прообразы грядущей жизни и, в этом смысле, «самое главное» (подзаголовок двух первых тетрадей).

На первых страницах она рассказывает, как услышала от матери «содержание сюжета о Татьяне Лариной и Евгении Онегине» и что помнит «этот день, час, обстановку». Сущность «великого открытия того дня» (то, чего она тогда не понимала) была «в появлении еще одного мира, второго по счету» (I–II, 1). Это было «чувство величайшего раскрытия жизненного смысла». Искусство «обобщало, проникало, строило второй план, который делал живущую меня – творцом живого» (I–II, 3). Эти первые художественные потрясения и были источником чувства, «что все то, что находится во мне и вне меня, не исчерпывается собой, а имеет значение» (I–II, 1).

Описывая годы учебы в гимназии, Фрейденберг формулирует прообраз «душевной драмы» своей будущей жизни: «Во мне раскрылся общественный человек» (I–II, 40) – и вместе с этим возник «конфликт между моей внутренней жизнью и общественными условностями» (I–II, 56). Отныне ее биографии «всегда будет сопутствовать судилище и клевета» (I–II, 55). (Когда она описывала конфликтные ситуации в гимназии и острое отроческое переживание несправедливости, она переживала «судилища» в университетской карьере.)

Она пишет о первой дружбе, с Еленой Лившиц (эта связь с подругой-сестрой, «близнецом», порой ее тяготившая, сохранилась на всю их жизнь)²². Она пишет о гимназической учительнице русского языка и литературы Ольге Владимировне Никольской (впоследствии Орбели) (1878–1953), с семьей которой она также сохранила связь на всю жизнь и чья дочь стала душеприказчиком Фрейденберг и хранителем ее архива.

В первых главах Фрейденберг пишет в лирическом стиле, напоминающем прозу молодого Пастернака – повесть о девочке «Детство Люверс» и автобиографическую «Охранную грамоту». С Пастернаком ее связывают и внимание к напряженному внутреннему миру ребенка, и концепция второго плана (мира «изображений»), и идея детства как фрагментарного прообраза грядущей жизни, в котором предощутимо будущее в его катастрофичности²³. Но дело здесь не только во влиянии прозы Пастернака, но и в общности их юно-

²² Об этой дружбе и ее мифологических проекциях см.: *Брагинская Н. В.* Елена Лившиц – Ольга Фрейденберг, или Травестия близнецного мифа: [Послесл. к публ. О. М. Фрейденберг «Лившиц-царь»] // Новое литературное обозрение. 1993–1994. № 6. С. 107–115.

²³ Сходство между ранними записками Фрейденберг и ранней автобиографической прозой Пастернака были отмечены исследователями: *Гаспаров Б.* Поэтика Пастернака в культурно-историческом измерении (Б. Л. Пастернак и О. М. Фрейденберг) // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 366–384; *Perlina N.* Olga Freidenberg's Works and Days. Bloomington, Indiana: Slavica, 2002. P. 19–27. Я также пользовалась статьей: *Бем А.* «Охранная грамота» Бориса Пастернака // Руль. 1931. № 3304, октябрь.

шеского мироощущения и стиля самовыражения.

Фрейденберг приводит обширные цитаты из адресованных ей писем Пастернака, которые отсылают к их тогдашним разговорам:

«Я говорил тебе о детстве внутреннего мира, которое связывало нас. И даже не говорил, а м. б. слушал твои воспоминания об этом. Но постепенно эта романтика духовного мира, который отличает детство и кульминирует в 15–16 лет, захватывает внешний мир, который до этого момента мы просто наблюдали, схватывали характерное, имитировали, умели или не умели выразить» (I–II, 76).

Она комментирует: «21 страница! Это было письмо, полное молодого, сильного чувства, которое не смеет назвать себя» (I–II, 78). Это были любовные письма. Она поясняет: «Мне было 20 лет, когда он приехал к нам не по-обычному» (I–II, 69). И эти письма говорили за обоих: «Я еще не знала, что Боря будет поэт и что ему дано лирически говорить за всех. В этом письме он выразил и всего себя, но и всю меня» (I–II, 78).

Сейчас она говорит не лирическим говором поэта, а языком ученого, описывая свое жизнеощущение в категориях литературного анализа: «Так, начиная с раннего возраста, во мне тлел интерес к формам, которые принимала жизнь, к ее метаморфозам и перелицовкам...» (I–II, 117) В теоретических терминах, она представляет занятия наукой как подо-

бие художественного творчества, и в этом смысле как своего рода автобиографию:

И ведь научная работа, как всякое творчество, есть автобиография. И когда я впоследствии стала заниматься теорией литературных форм, семантикой смыслов, рождавших форму; когда я порывалась охватить многообразие и пестроту форм единством перевоплощенной в них семантики – я только и делала, что рассказывала о жизни своей души и своего тела (I–II, 117).

Эта концепция напоминает идеи Дильтея, согласно которому автобиография – это осмысление жизни, прошедшее через смыслообразующее воздействие литературных форм²⁴. Для Фрейденберг наука, как и искусство, была таким способом понимания. В соответствии с идеями генетической семантики, она представляла себе течение жизни, а

²⁴ О роли Дильтея в разработке теории автобиографии в рамках его герменевтического подхода и о дальнейшем развитии этих идей см.: *Томэ Д., Шмид У., Кауфманн В.* Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография / Пер. с нем. М. Маяцкого. М.: НИУ ВШЭ, 2017. Эти авторы рассматривают взаимодействие между теорией и автобиографическими практиками у целого ряда теоретиков культуры двадцатого века, отслеживая при этом напряжение между теорией и «жизнью». Они истолковывают герменевтику Дильтея («жизнь» как объект понимания и истолкования в категориях гуманитарного знания) именно как попытку применения теории к жизни: «Вильгельм Дильтей предпринял знаменательную попытку <...> примирения теории и автобиографии. Он утверждал, что мы, собственно, занимаемся тем же самым, теоретизируем ли мы или пишем автобиографию» (Там же. С. 11). Некоторые формулировки Фрейденберг близки к идеям Дильтея.

следовательно, и автобиографию, как единство перевоплощений или трансформаций смыслов во многообразии форм. (По ходу записок Фрейденберг еще вернется к своей концепции автобиографии.)

Первые тетради описывают и события «внешней жизни», находившейся в разладе с внутренней: проблемы отца, который бился как рыба об лед, чтобы прокормить семью (занятый своими изобретениями, он также работал в газетах); заботы матери, на которой был дом и домашнее хозяйство; трудности брата Сашки, взбалмошного, благородного, блестящего.

Фрейденберг описывает заграничные поездки (частично вызванные необходимостью поправить здоровье, начавшийся туберкулез), овладение языками, непередаваемое «чувство свободы». Описывает Швейцарию, «нелюбимую Германию», «прекрасную Италию»; «романы, увлечения и дружбы» (I–II, 106). Она сильно полюбила Швецию, где испытала чувство к пастору: «Я влюблялась в страны и в людей» (I–II, 110).

Война прервала этот романтический период. Начало Первой мировой войны застало Фрейденберг в Швеции, и в августе 1914 года она с большим трудом возвратилась в Петербург. Она начала новую жизнь: «В ноябре 1914 года я сделалась сестрой милосердия» (I–II, 145).

После 1914 года Фрейденберг уже не выедет за пределы страны.

Первая автобиография завершается кратким описанием революции в 1917 году. Война кончилась. Кончилась работа в лазарете. Революция открыла женщинам доступ к высшему образованию: «Опустошенная, раздетая, я входила в Университет» (I–II, 179). В 1917/18 учебном году она была вольнослушателем; с 1919-го зачислена студентом.

Оглядываясь назад, Фрейденберг подводит итоги этому периоду своей жизни:

Я не знала, что это есть начало моей жизни на ее главном переломе. Что все пережитое было только вступлением и увертюрой. <...> И что только теперь начнутся мои увлечения и страсть, и настоящая любовь... (I–II, 179)

(Вспомним, что она писала для возлюбленного.)

Под повествованием стоит дата: 11/ II 40.

Десять лет спустя, в 1948–1949 годах, Фрейденберг описала (в это время она заполняла в записках лакуну в истории своей жизни, излагая события 1917–1941 годов), как она работала над автобиографией зимой 1939/40 года. Она процитировала свою запись того времени: «Я жила только тем, что писала для него свою автобиографию (начало, до университета)» (XI: 92, 208). Б. пришел к ней, чтобы лично занести тетрадь: «Сказал, что прочел сразу, читал всю ночь до утра...» Большое впечатление произвело на него родство Фрейденберг с Пастернаком: «Он брат вам не только по крови!» (XI: 90, 192). Но чтение не привело к сближению между

ними.

В течение всех записок (включая и хронику блокады) Фрейденберг продолжала описывать свою любовь к Б., хотя и понимала, что он человек незначительный и даже нехороший. Однажды, удивляясь его успешной карьере, она предположила, что он был осведомителем: «А вдруг – осведомитель, агент тайной службы? Кто мог поручиться в этой кошмарной жизни за своего брата, друга, мужа, возлюбленного?» (XXIII: 41, 54) В любом случае, Б. был никак не ровня ее возлюбленному Израилю («Хоне») Франк-Каменецкому, который погиб под машиной в 1937 году.

Оглядываясь на то, как она писала свою первую автобиографию, она сформулировала концепцию любви:

Любовь – это особое мироощущение. Время останавливается. В нем нет протяженности. Все, что было, остается жить во всех деталях, стоит перед глазами; нет более или менее важного, если связано с «ним». Ничто не пропадает и не исчезает. Каждый пустяк получает особую значимость. <...> Все требует толкования, все полно глубочайшей символики (XI: 91, 201).

Согласно этой концепции, любовь – это механизм смыслообразования, который предполагает особую темпоральность.

Заметим, что к сходным выводам пришел семиотик Ролан Барт, когда много позже в книге «Дискурс любви» (1977) писал о «знаковом хозяйстве любовного субъекта»: любовь

создает смысл из ничего, «любовь – это праздник, не чувств, но смысла»²⁵.

Итак, со временем «автобиография» – история детства, отрочества и юности, написанная в мыслях о любви и смысле, стала «вступлением и увертюрой» к истории всей жизни.

Темы, ситуации и структурные принципы этой увертюры («любовь матери»; «судилище и клевета»; «многообразие форм и единство перевоплощенной в них семантики» и другие) вошли в дальнейшее повествование и получили в нем развитие и новые воплощения.

Но это далеко не все: с началом войны в жизнь Фрейденберг вошла новая стихия, и ее записки, не оставляя пафоса любви, прибегают к другой стратегии понимания: политической герменевтике катастрофического опыта.

²⁵ *Барт Р.* Фрагменты речи влюбленного [1977] / Пер. с франц. В. Лапицкого. М.: Ad Marginem, 1999. С. 61, 23.

3. БЛОКАДА (1941–1945)

*«Как мы жили? Как мы прожили эти годы?» –
«Голод и полная отмена цивилизации» –
«Глотать и испражняться он вынужден
был по принуждению» – «Зависимость, голод
– и непосильное обязательство по гроб!» –
«Советская Тиамат» – «Сталинский кровавый
режим и слепота матери замучили, как
в застенке, мою жизнь» – «Наша драма
была в том, что нас заперли и забили
в общий склеп» – «Только катастрофа
могла вывести нас из этой преисподней»*

«Как мы жили? Как мы прожили эти годы?»

Фрейденберг начала писать свою блокадную хронику 3 мая 1942 года, и начала с рассказа о первом дне войны, 22 июня 1941 года.

С первых страниц она систематически документирует разворачивающуюся катастрофу, фиксируя внимание на двойном бедствии: «война с Гитлером» и «наша политика», которая «никому не внушала доверия» (XII-bis: 1, 1)²⁶. Она описывает беспорядочную эвакуацию, насильственные дежурства и рытье окопов, воздушные бомбардировки и артиллерийские обстрелы: «С бесчеловечной жестокостью немцы убивали ленинградцев» (XII-bis: 17, 40); «[н]есчастья города усугублялись тем, что власти маскировали военные объекты телами горожан» (XII-bis: 17, 44). Описывает исчезновение продуктов с прилавков магазинов и провал государственной

²⁶ Блокадные записи занимают тетради под номерами от XII-bis по XX. (Фрейденберг, по-видимому, по ошибке дала двум тетрадам номер XII и позже назвала вторую тетрадь XII-bis.) В этой части записок нумерация глав сплошная (от главы 1 до 181). В машинописи в тетрадях XII-bis–XIV страницы нумерованы в пределах каждой тетради; в тетрадях XV–XVII страницы не нумерованы, и я пользуюсь своей нумерацией; в тетради XVIII отсутствует нумерация на первых 28 страницах; я пользуюсь своей (сквозной) нумерацией, игнорируя проставленные в машинописи номера; в тетрадях XIX и XX нумерация непоследовательна (со с. 61 по 108), и я привожу указанные в машинописи номера страниц.

системы распределения: «День за днем, неделю за неделей человеку не давали ничего есть. Государство, взяв на себя питание людей и запретив им торговать, добывать и обменивать, ровно ничего не давало» (XII-bis: 29, 80). Описывает состояние дома: прекращение работы водопровода и канализации зимой 1941/42 года, унижительную зависимость от «дворничихи» и «управхозихи». Описывает положение в своей семье: мучительные сомнения об эвакуации (уезжать или не уезжать), борьбу за «рабочую карточку» и «академический паек». (Они с матерью долго питались запасами консервов, заготовленных в 1937 году для посылки арестованному брату, но эти запасы подошли к концу.) Описывает все более напряженные и мучительные отношения с матерью, которая «становилась очень раздражительна» (XII-bis: 24, 65). Описывает и ежедневные совместные «радости»: утренний горячий чай, суп, вечерний «„миг вожденный“ у печки» (XII-bis: 32, 90).

Фрейденберг описывает блокадный быт с тщательностью антрополога или этнографа и рассматривает происходящее – и в городе, и в семье – в политической перспективе, причем с первой страницы ее занимает «теоретическое значение случившегося» (XII-bis: 1, 1).

Вскоре она делает тотальное обобщение о блокаде как ситуации полной несвободы: «Не было ни у кого ни в чем ни выбора, ни возможности свободы, ни избежанья» (XII-bis: 23, 62).

Продолжая описывать каждодневный быт и разворачивающиеся события в хронологическом порядке, 27 мая 1942 года Фрейденберг дошла до дня, в котором велось повествование («сегодня»), и рассказ о недавнем прошлом ненадолго обратился в дневник. «27 мая 1942. Ночью был налет. Мама плохо спала „от мыслей“ ...» (И мать, и дочь мучительно обдумывали возможность эвакуации.) В этот день, как и в другие дни, она описывает состояние своего тела, измененного голодом: «Я измучена. Сегодня одела детское свое пальто. <...> Меня уже, в сущности, нет. Мое тело заживо истаяло. У меня структура восьмилетнего ребенка». Она говорит о катастрофе и сомневается в будущем: «Этой катастрофе пора взглянуть в глаза. Чего ждать, на что надеяться?» Она приравнивает каждодневную жизнь в блокаде к заключению в тюрьме или концлагере, обвиняя при этом и советскую власть, и мать: «Сталинский кровавый режим и слепота матери замучили, как в застенке, мою жизнь. <...> Так должен себя чувствовать мученик концлагеря...» (XIII: 59, 90) Метафора тюремного заключения, или концлагеря, проходит через все блокадные записки.

Вскоре записки снова становятся ретроспективными, а не ежедневными, а с наступлением холодов, поздней осенью 1942 года, Фрейденберг перестала писать (мерзли руки, замерзали чернила) и возобновила записки весной 1943 года, восстанавливая события прошедшей зимы. По форме блокадные записки – это, по большей части, «ретроспективный

дневник».

Записи следуют за календарным циклом. После ужасов первой блокадной зимы – «возрождение» и «преображение», пережитые весной 1942 года: начали работать почта, телеграф, аптеки; пошел трамвай: «Это было великое символическое событие!» (XIII: 53, 72) Она пишет о странной красоте города, в котором перестали работать заводы и фабрики: воздух стал свежим, «гулким от тишины» (XIII: 53, 72). Еще одна ужасная зима, опять весна. События и переживания, как ей кажется в апреле 1943 года, «стали повторяться»: «те же праздники, выдачи, позорные задержки пайка, голоданье» (XVII: 127, 11).

Она вспоминает и отдельные дни: «вставала в памяти даже дата. Это было 16 января [1943 года]». Стоял страшный мороз, в доме не было еды: «Мы погибали». Плача ночью в постели, она взывала «к милосердию не людей, но жизни». И на следующий день жизнь послала им подарок: явилась студентка Нина с хлебом, маслом, кильками, сахаром (XVII: 128, 13). Этот день она вспоминает не раз.

Вспоминает она и другие ужасные дни. «26 января [1944 года] был один из дней апогея всех зимних несчастий» (XV: 112, 14). Мороз доходил до 30 градусов. По всей квартире, с ее щелями, выбитыми стеклами, ходил лютый ветер. Ночью был жестокий налет. Плита немилосердно дымила, покрывая их с матерью едким туманом.

Фрейденберг воспринимает это в политическом ключе:

Куда было укрыться человеку от осаждавших его агрессоров-врагов, от государства, от тирании чужих и родных, от этой громадной и мощной системы насилия, в которой не учитывалась свобода? (XV: 112, 15)

(Она часто соединяет врагов, государство и семью как источник «тирании».)

Продолжает она в философском ключе:

Да, был пережит, был прожит и этот день, как многие другие. Но жизнь, даже жизнь в СССР, в России, не может оставаться одноцветна, даже в осажденном городе среди осажденных людей (XV: 112, 15–16).

В течение всех блокадных записок она рассуждает о жизни как о философском понятии: «Жизнь оберегала меня и осторожно вела за руку по тяжелой тропе над пропастью»; «обобщая и символизируя» явления, она пишет о глубокой сущности «матери-жизни» (XIV: 96, 72–73).

Всю блокаду Фрейденберг описывает календарные праздники: встреча Нового года, день рождения матери, ее день рождения (сказочные продукты – изюм, американский компот, кильки, свиное сало). После такого праздника ночью им сделалось худо: привыкшие к голоду желудки не могли переварить пищу (XVII: 130, 22).

Повторялись и визиты в университет и городские учреждения (в бухгалтерии и директорские кабинеты, в приемные к секретаршам), повторялись хлопоты о карточках и прикреплении, получение справок, удостоверений и свиде-

тельств. «Повторялись и другие события» (добавляет Фрейденберг): плохо работала канализация, и из квартиры сверху их то и дело заливало нечистотами (XVII: 128, 13).

Как многие блокадные документы, записки описывают городскую жизнь, причем Фрейденберг комментирует свои наблюдения в социологических и антропологических терминах: «...на Невском много молодых упитанных дамочек с накрашенными губами. <...> Это любовницы и жены командного состава армии и чеки, директоров и „завов“. По переулкам в грязи и скользкой слякоти бредут призраки людей. Но их все меньше и меньше» (XVII: 127, 11). Она делает широкие обобщения: «Военные в серых шинелях и моряки в черных деловито спешат. Больше всего военных девушек <...> они шагают вместе с мужчинами и сливаются с их серой массой. Пол отменен. Природа отменена» (XVII: 127, 11). Она описывает дом и тоже обобщает: «Холодно, неудобно у нас. Нечего есть. Человек поставлен, как в концлагере, в безвыходное положение» (XVII: 127, 12).

Она неоднократно описывает гибельные обстрелы города и бомбардировку с воздуха:

После протяжного воя по радио, воя-плача, тягучей жалобы, после длительного ноющего воя-укоризны, вдруг хлопывали в ладоши огромные крики зениток. Темнота душила сердце. Она была невыносима. В ночной постели, среди сна, люди лежали под одеялом и ожидали своей участи. Над ними совершался

приговор. Жужжали сухим свистом немецкие самолеты. Минута ужасная. Вдруг – сотрясение природы, брешь в небытие, грохот, тяжелое паденье улицы. Миг – и дом скачет, переминается с ноги на ногу громоздкий буфет. Встряхивает головой зеркальный шкаф. Кровать в конвульсиях. К помертвелой душе возвращается сознание: мы живы; мы целы; пронесло. Бомба упала не на наш дом.

Неживая тишина. Лежим и ждем новой волны. И она бежит опять. Снова зенитки и ожиданье участи. Умрем сейчас или позже? (XV: 108, 6)

Фрейденберг пишет здесь за всех – за людей, лежавших в ночной постели в ожидании приведения в исполнение смертного приговора, но ее блокадное «мы» – это прежде всего она и мать. Развивая метафору, она рассуждает затем о том, как «наивно» Средневековье с дыбами и четвертованием по сравнению с этими страданиями и пытками современности (XV: 108, 6). Ситуация блокадного человека приравнена здесь к ситуации жертвы террора.

В другие дни она описывает обстрел как конкретное событие дня. Первого мая 1943 года с утра начался обстрел. «Целый день немец бил по нашему району. К вечеру обстрел принял убийственный характер». «С ужасающим свистом и грохотом летели тяжелые снаряды прямо в нашу сторону. Была неестественная жуткость в том, что наш каменный пятиэтажный дом давал качку. От одного сотрясения воздуха комнаты вздрагивали и шатались» (XVII: 131, 24).

Об обстрелах Фрейденберг пишет, что «это двойное варварство, Гитлера и Сталина, продолжалось теперь из дня в день, часами, по всем районам одновременно» (XVIII: 138, 10). Она поясняет свое суждение о двойном варварстве (и делает это не один раз): «немецкие орудия» (или «немцы») «метили в мирных обывателей, в женщин, в гущу гражданского населения» (XVIII: 138, 9), а «советская власть» требовала, чтобы люди находились на своих служебных местах, и «опаздывать на службу было недозволено»; в результате во время обстрелов люди находились на улице, на остановках трамвая, а не в убежищах (XVIII: 138, 9). «Это было двойное варварство: у немцев от нечего делать, у Сталина от пренебрежения к городу» (XVIII: 142, 25). «Немцы били снарядами по трамвайным остановкам и по всем местам скопления публики, мирной безоружной публики, которую наш тиран заставлял жить и работать на передовых позициях. Трамваи обращались в кровавое месиво» (XVIII: 155, 80).

Она фиксирует смерти друзей и знакомых, рассказывает истории о гибели людей и семей.

«Как мы жили? Как мы прожили эти годы?» – спрашивает она себя (говоря об осени 1943 года). И отвечает: «Наравне со всеми: в будущее не заглядывали, – о завтрашнем дне не думали» (XVIII: 154, 79).

За этим следует философское рассуждение о фрагментарной природе блокадного времени:

Погибающие люди научились, не сговорившись,

жить вершками. Время скорчилось и застыло судорогой. Оно измерялось отрывками и лоскутами. Жизнь состояла из стружек времени, и это сберегало, как упаковка яиц или стекла. Мы шли за секундами и получасами, глядя только под ноги, словно на перевале из скользкой грязи; за шаг вперед никто не смотрел и головы не поднимал (XVIII: 154, 79–80).

Ей кажется, что о том, как жили в блокадном Ленинграде, не знали за его пределами, или знали «официальную», лживую версию, особенно за границей, и голодные, осажденные люди – «люди без воды и отлива, обстреливаемые днем осколочными снарядами и ночью бомбардируемые с воздуха» – погибали в неизвестности (XVII: 129, 15).

Она замечает, что пропаганда создала фиктивный мир, на имеющий отношения к реальному опыту: «Жизнь ужасна. Она полна мук, она состоит во всей своей общественной сути из одних фикций» (XVII: 133, 33).

Между тем страшный блокадный быт (как Фрейденберг не раз замечала) превратился в норму. «Жизнь шла нормально в своем унижительном паденьи» (XVIII: 157, 87). Идея нормализации страшного в быту заключала в себе важный политический вывод.

И вот среди «этого балагана» она переживает «редкие, но высокие часы наедине со своей наукой»; она думает и пишет (XVII: 133, 33). Однажды ночью (25 февраля 1943 года), после очередной ссоры с матерью, она размышляет о проблеме

формы и содержания:

Проблема формы и содержания есть проблема жизни и судьбы, небытия и божества, космоса в физическом и духовном началах. Живя и страдая, научно работая над текстами и книгами, я вынашивала только один этот страстный вопрос, обращенный к безмолвному универсуму (XVI: 122, 17).

В этом контексте Фрейденберг сформулировала процитированный выше жизненный принцип: «я никогда не могла ставить перегородок между научной теорией и непосредственным восприятием жизни» (XVI: 122, 17).

И вот теперь, страшной блокадной ночью, ей открывалась «извечная сущность неравенства семантики и ее морфологии». «Это несло очень глубокие философские выводы обо мне и о жизни в целом». Сейчас, в блокадную ночь, в размышлениях о своей жизни и о «вехах своего существования», ей открылась мысль, что «форма есть новое, по отношению к семантике, качество, а не ее отливка» (как она думала раньше и как «учил Марр и марксизм, говоря о генетической стадии»).

Никогда, ни в каком периоде бытие не служило прямым выражением того, что вызывало его к жизни, — иначе не было бы этой вечной таинственной тайны, составляющей суть всего мирового процесса. Формой и в форме семантика функционировала; но это две различные стихии, обнимавших [sic!] нечто гораздо

большее, чем только бытие и небытие (XVI: 122, 17–18).

Так думала Фрейденберг 25 февраля 1942 года, «лежа в ночной тьме», в полном одиночестве, без друзей, «без Со-ни» (она упоминает здесь свою ближайшую ученицу Сою Полякову), без учеников, без книг и прав, в одиночестве, в нищете, в ужасных жизненных мученьях (XVI: 122, 18). Она думала о жизни в целом и о своей жизни в теоретических терминах гуманитарной науки.

Наступала третья осадная зима. (Прорыв блокады в конце января 1943 года, как заметила Фрейденберг, не принес облегчения.) Но еще прежде, чем снова настали лютые холода, 25 ноября 1943 года, с матерью случился удар. Третья зима прошла и в муках ее умирания, описанных с ужасающей подробностью, и в сознании того, что теперь, в преддверии смерти, для обеих наступило духовное возрождение.

Фрейденберг оборвала свою хронику 1 мая 1944 года, вскоре после смерти матери. Ей казалось, что она вступила в последний период своей жизни.

Со временем блокадные записи Фрейденберг, девять рукописных тетрадок (572 машинописные страницы), стали частью огромной автобиографической хроники «Пробег жизни». Хроника блокады получила отдельное название: «Осада человека».

Во многих отношениях картина, возникающая из этих записей, соответствует тому, что мы знаем из других блокадных документов. Как и другие блокадники, Фрейденберг бе-

рет на себя задачу представить факты блокадной жизни, и с этой мыслью она фиксирует нормы выдачи продуктов, порядок получения карточек различных категорий, цены на черном рынке, распоряжения городских властей, режим работы транспорта и городских служб (от Смольного, где в исполнении под председательством П. С. Попкова решались вопросы снабжения, обслуживания и обороны города, до домоуправления). Она передает разговоры в очередях, записывает слухи, ходившие среди населения, и свои собственные домыслы и подозрения (об открытии второго фронта, о готовящемся штурме города, о возможности его сдачи). С начала до конца Фрейденберг писала, осознавая огромное значение блокадной повседневности. Но это далеко не все.

На фоне известных нам блокадных документов записки Фрейденберг отличаются антропологической перспективой и политической ориентацией, которые проявляются и в авторской позиции – в роли участника-наблюдателя, и в методе – в этнографическом описании повседневности, пронизанном анализом социально-культурных механизмов, в первую очередь – работы власти. Полевые наблюдения соседствуют у Фрейденберг (ученого, обладавшего широким гуманитарным кругозором) с теоретическими обобщениями, сформулированными в категориях философской антропологии и политической философии. В тщательно отработанных, повторяющихся формулировках она представляет «осадное положение, созданное тиранией» (двойной тирани-

ей, Гитлера и Сталина) как положение, державшее «город, меня, мое тело и психику в особом ультра-тюремном укладе» (XV: 115, 28). Именно эту ситуацию она назвала «осадой человека», приравняв человеческие тело и душу к осажденному городу.

В блокадных записках Фрейденберг не раз возвращается к метафоре блокады как тюремного заключения или концентрационного лагеря. Так, о состоянии блокадного человека, организм которого «перевоспитался и перевооружился» для жизни в ситуации хронического голодания, она пишет: «Это было приспособление каторжника, долгосрочного тюремного арестанта и заключенных в советский концлагерь» (XIV: 97, 74). В другой раз она поясняет, что имеет в виду под ситуацией отечественного концлагеря:

Международное общественное мнение не знало, не подозревало, что осажденный город изнывал в отечественном концлагере; здесь человек подвергался насилию, смерти, всем ужасам голодного истощения и борьбы с физической природой, всем лишениям заброшенного государством, но им эксплуатируемого существа (XV: 108, 5).

Блокада становится моделью экзистенциального состояния советского человека сталинской эпохи.

Как уже отмечалось во Введении, существует другой документ, который тоже ставит себе задачу обобщить блокадный опыт в теоретическом ключе и тоже уподобляет блокаду

лагерю, хотя и пользуется при этом другими методами – скорее писателя, чем ученого; это блокадные записи и повествования Лидии Гинзбург²⁷.

Думаю, что в случае Фрейденберг именно позиция антрополога и теоретическая ориентация позволили ей взглянуть в глаза катастрофе и описать состояние города и человека самым радикальным образом – во всей наготе и безобразии блокадного быта и во всей значительности этого социального опыта. О позиции антрополога следует сказать особо.

²⁷ В сносках мы упомянем о некоторых из таких сближений. Так, Гинзбург провела аналогию между «каторжным кольцом и кольцом блокады», состоянием блокадного человека и жертвы террора (*Гинзбург Л. Я.* Проходящие характеры: Проза военных лет. Записки блокадного человека / Сост., подгот. текста, примеч. и статьи Э. Ван Баскирк и А. Зорина. М.: Новое издательство, 2011. С. 453. Имеются и существенные различия: Фрейденберг последовательно придерживается позиции ученого, этнографа или антрополога. У Гинзбург сознательно избранный и эксплицитно заявленный способ самообъективации – это «психологическая проза». Человек в текстах Гинзбург – предмет не науки, а искусства.

«Голод и полная отмена цивилизации»

Блокадные записки – это дневник, или «ретроспективный дневник», подобный полевому дневнику этнографа, написанный с позиции участника-наблюдателя, занятого и описанием особого блокадного быта, и теоретическим обобщением опыта²⁸.

Фрейденберг описывает пути добывания, принципы деления, способы приготовления и акты поглощения пищи – «процесс еды» (XIV: 89, 45). Она подробно описывает «структуру» хлеба и экскрементов:

²⁸ Бронислав Малиновский определил позицию этнографа как выступающего в двойной роли участника и наблюдателя (*participant observer*). С особой остротой парадоксы этой позиции проявились в личном дневнике («Дневнике в строгом смысле слова»), который Малиновский вел в Новой Гвинее и на островах Тробриан во время Первой мировой войны, описывая свои наблюдения над туземцами, психологические и телесные реакции на пребывание в их среде и размышления над процессом наблюдения. (Опубликованный в 1967 году, через много лет после смерти автора, дневник Малиновского шокировал многих тем, как дурно он писал о туземцах и в каких непривлекательных подробностях писал о себе.) Малиновский назвал этот документ «ретроспективный дневник»: это «история» событий (то есть ретроспективное повествование), которые были полностью доступны наблюдателю. При этом он признавал, что и в полевом дневнике мы едва ли можем говорить об объективных фактах: «теория создает факты». «История – это наблюдение за фактами в соответствии с определенной теорией; приложение этой теории к фактам, которые рождает время» (*Malinowski B. Diary in the Strict Sense of the Term. With a new introduction by Raymond Firth. Stanford: Stanford University Press, 1989. P. 114*).

Хлеб был так ужасен, что выходил в испражнениях непереваренными крупинками, как крупная манная, и целыми кучками той самой структуры, которая у него была до пищеваренья, с соломой, отсевами, месивом, – словно это был хлеб, но не экскременты (XII-bis: 29, 81).

Это обыденные процессы и предметы, обычно тривиальные, не подлежащие описанию, сейчас же не только драматические, но и исполненные культурного и политического значения.

Фрейденберг пользуется такими антропологическими категориями, как сырое и вареное:

Голод прививал новшество: люди не только ели, что угодно, но привыкали к сырому, не вареному. Ели всякие травы, от которых женщины ходили, словно беременные, с большими животами; худые, со вздутым животом, они напоминали (и я в том числе) негритянок (XVIII: 139, 12).

Она уподобляет жителей блокадного города членам туземного племени где-нибудь в Африке или Океании. «И я в том числе» – Фрейденберг здесь не просто участник-наблюдатель, она находится в положении «туземного антрополога» или «автоэтнографа»²⁹.

²⁹ Понятия «туземный антрополог» (native anthropologist) и «автоэтнограф» (autoethnographer), то есть этнограф, занятый рефлексией над собственным обществом и самим собой, вошли в научный обиход в 1980-е годы, дополняя представления о динамике participant observation, введенные Малиновским.

В этом ключе она описывает, как вечером у печки молилась богу огня:

О, бог огня, всесильный бог, ты, которому молилось все первобытное человечество! И я невольно служила и молилась тебе по вечерам, окоченелая и голодная, и повторяла в душе: «да, всесильный, всемогущий, великий» (XIV: 99, 81).

Она представляет ситуацию жителей города как регрессию к стадии примитивного общества: «Голод и полная отмена цивилизации» (XVII: 134, 45)³⁰. Это общество того типа, который является предметом изучения этнографов или антропологов ее времени.

Как многие блокадные документы, записки Фрейденберг фиксируют крушение городской цивилизации, от транспорта, телефона и средств массовой информации до водопровода и канализации (XII-bis: 31, 85).

Ей приходит в голову, что жители оказались в положении человека, «отданного во власть природы»:

Мы не были защищены всем тем, что выработала многовековая цивилизация. У нас не было ни домов, ни жилищ, ни топлива и теплых вещей, ни воды и уборной,

³⁰ О том, что «[п]ри распаде системы ценностей происходит вторичное одичание культурного человека», писала в своих блокадных записках и Лидия Гинзбург: «При развале быта у него появляются пещерные замашки, пещерное отношение к огню, к пище, к одежде» (*Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе.* СПб.: Искусство – СПб, 2002. С. 727). На это указано в: *Сандомирская И. Блокада в слове...* С. 256.

ни отлива для нечистот, ни еды, ни света, ни защиты законов (XV: 111, 13).

Возвращаясь к этой теме, она добавляет, что дело не только в отмене цивилизации, усложнявшей быт, и не только в возвращении в природу, дело было и в применении насилия со стороны государства, оснащенного культурными институтами и передовой техникой:

Целый день уходил на преодоление несчастных бытовых препятствий, о которых человеческая цивилизация давно забыла; они усугублялись тем, что разыгрывались не среди природы, а посредством сложной машины государственного насилия и сложнейших выкрутасов самой передовой техники, направленной на уничтожение и мучительство людей. Ни Робинзон, ни палеазиат [sic!] не знали налогов, карточек, аэропланов и снарядов; они убили бы Попкова, спекулянта или нашу управхозиху (XV: 113, 17).

Фрейденберг последовательно оценивает происходящее не только в антропологической, но и в политической перспективе. Именно в политической перспективе она описывает функционирование культурных институтов: систему распределения продовольствия, работу домового управления, динамику хлебной очереди, новые преступления (кражи хлебных карточек, каннибализм), новые формы обмена и дарения (еда и топливо, получаемые от друзей, членов се-

мый, студентов), динамику семейных отношений (отношения, возникающие в ситуации ограниченных ресурсов, взаимной зависимости и крайней скученности) и изменившуюся структуру тела.

Как автоэтнограф Фрейденберг описывает и свое тело. Ее наблюдения исполнены ужаса; при этом она пользуется специальной терминологией («структура моего тела»):

Боже мой, какая я была исхудалая, страшная. Бедер не было, грудь вошла внутрь. Никогда я не думала, что смогу иметь такой вид. Я полагала, что у исхудалой женщины грудь худеет, отвисает, становится дряблой; но я не подозревала, что она совершенно исчезает и улетучивается, как спирт. Я, полногрудая с малых лет, оказалась кастрированной, словно это не структура моего тела (XIII: 52, 67–68).

Говоря о «кастрации», то есть потере половых признаков (и думая при этом и о возможной встрече с возлюбленным), она обвиняет власть Гитлера и Сталина (или его представителей):

Я боялась, что через 3 года, при возможной встрече с Б. (этой загнанной вглубь надеждой я все-таки жила), что я постарею через 3 года. Боже, я была старухой уже через 3 месяца! Одна зима с Гитлером-Попковым, – и уже конец женщине! (XIII: 52, 68)

(Напомним, что Петр Сергеевич Попков был главой Ленинградской городской администрации, ответственной и за

снабжение города и распределение продуктов.)

От наблюдений над собственным телом она переходит к обобщению, касающемуся структуры тела всех блокадных женщин как нового антропологического типа:

И такими были мы все. Женщины без бедер, без груди, без живота, женщины с мужской структурой. <...> Измененная структура костей лица, черепа, лба производила сильное впечатление. Как страшно, когда на глазах меняется физическая природа человека, не тело, а скелет! Это самое страшное, что когда-либо приходилось видеть. <...> В эту зиму женщины и мужчины потеряли свои природные особенности. Дети почти не рождались. Я не видела ни одной беременной женщины (XIII: 52, 68–69).

Перспектива автоэтнографа позволяет ей описывать не только страшное, но и отвратительное: «Изменились некоторые функции и свойства органов. У большинства был катастрофически слаб мочевой пузырь; у нас с мамой он не работал по 15-ти часов и дольше» (XIII: 52, 69).

Фрейденберг уделяет огромное внимание теме, которую другие авторы блокадных заметок избегали, – экскрементам. Она описывает физиологическое состояние блокадного человека:

Начиная с конца января весь город поголовно проходил через голодные поносы, гемоколиты и дизентерию. Не было человека и семьи, не было квартиры без острого поноса, иногда доходившего до

19–20 раз в сутки (XIII: 34, 3).

Описывает состояние квартиры, дома и городских пространств в ситуации, когда плохо работала канализация: «Двор, пол, улица, снег, площадь – все было залито желтой вонючей жижей» (XII-bis: 31, 86). Описывает положение в собственном доме – в технических деталях, с цифрами:

Коммунальная квартира заливала нас сверху испражнениями. Я выносила по 7 ведер в день нечистот, да еще поджидала, чтоб экскременты были горячими, свежими, иначе они замерзали бы через 10–15 минут и создали бы безвыходное положение (XII-bis: 31, 86).

Тема дефекации играет центральную роль в детальном описании попытки эвакуироваться с матерью из Ленинграда в июле 1942 года в эшелоне, сформированном из преподавателей университета (XIV: 77–78, 12–21). Поезд надолго застрял на путях вблизи города. Фрейденберг описывает мучительные чувства (стыд, неловкость, злобу), испытанные в ситуации, когда коллеги по университету вынуждены были испражняться практически на виду друг у друга. Это сыграло едва ли не главную роль в ее решении вернуться домой. С характерной для нее беспощадностью Фрейденберг описывает, как по возвращении она потеряла контроль над своим телом на пороге квартиры: «Горячая жидкость потоком вырывается и заливает мои ноги, мое платье» (XIV: 78, 18).

«Глотать и испражняться он вынужден был по принуждению...»

Фрейденберг занимают механизмы власти, большой и малой. Особое внимание она уделяет системе привилегий в распределении питания: «Были различной категории люди, различной категории пайки. Их выносили замаскированно. Рассказывать о них не позволялось» (XIII: 37, 15). От этого наблюдения она переходит к политическому анализу, формулируя далеко идущие выводы о воздействии власти на физиологическую жизнь человека:

И самое ужасное было то, что человек не мог сам для себя добывать средства пропитания. <...> Глотать и испражняться он вынужден был по принуждению, в той мере, в какой это находила нужным победившая его кучка таких же людей, но свободных и в выборе еды для себя и в средствах насилия над другими, одинаковыми с ними людьми.

И потому одни умирали с синими губами, исходя поносами, а другие носили на спине рюкзаки и бодрым шагом несли домой жиры, белки и углеводы (XIII: 37, 15).

Базовые физиологические процессы, «глотать и испражняться», рассматриваются здесь как объект насилия со стороны государственных установлений, действующих в поль-

зу привилегированных, а последствия описаны в биологических терминах («несли <...> жиры, белки и углеводы»).

Современный исследователь назвал бы такой подход биополитическим.

Большое внимание уделяется месту отдельного человека в системе и иерархии власти. Описывая административные процедуры, задействованные в распределении питания (шаг за шагом, инстанцию за инстанцией, с пересказом разговоров и выписками из документов), Фрейденберг старается определить место каждого на шкале власти – от Сталина и Попкова, ректора Ленинградского университета и декана филологического факультета до секретарш официальных лиц и продавцов продуктовых магазинов, управхоза дома и дворничихи.

С пристальным вниманием и сильным раздражением Фрейденберг описывает и положение человека, добивающегося покровительства власти. Она пишет о «чинопочитании» и «чиноподхалимстве» (XII-bis: 13, 34) среди своих коллег по факультету, которых кормили «знакомства и блат» (XII-bis: 17, 45), тех, кто претендовал и в это время на «почести и привилегии» (XII-bis: 18, 46). Она называет имена и приводит детали: один «съедал в столовой Академии по четыре супа», другой «по девять» (XII-bis: 21, 54). Третий (И. М. Тронский), использовав «тяжелый социальный момент», защитил докторскую диссертацию на основе популярного учебника, получив при этом спецпак и ме-

сто в «профессорском эшелоне» эвакуированных, что было «недостойно», «позорно» (XII-bis: 22, 56)³¹.

³¹ С Тронским, коллегой-классиком, связаны сильные эмоции. Когда университет был эвакуирован в Саратов, куда Фрейденберг не поехала, Тронский стал вместо нее заведовать кафедрой. «Во сне я часто вижу Тронского. Это, видно, моя подсознательная боль. Сегодня ночью я снова была у него в Саратове, и он принял меня с олимпийской любезностью, как заведующий кафедрой – своего старого служаку» (XVII: 132, 29).

«Зависимость, голод – и непосильное обязательство по гроб!»

Динамика власти отслеживается и в отношениях между членами семьи, друзьями, преподавателем и студентом (учителем и учеником).

Фрейденберг подробно анализирует новую форму зависимости, которая возникла в условиях голода и неравенства: получение спасительных даров – хлеба и топлива – от других. Это было мучительно тягостным.

Бывшая любовница брата, пропавшего во время Большого террора, после долгого перерыва возобновила отношения с семьей: «Ей представлялся случай связать нас по рукам и ногам собственными услугами. Пошли трудные морально и физически дни. Антонина убивала нас, через день приносятся нам хлеб...» Фрейденберг обобщает: «Зависимость, голод – и непосильное обязательство по гроб!» (XIII: 43, 33, 34) Остается неясным, сознавала ли это Фрейденберг, но ее фразеология («убивала <...> приносятся хлеб») указывает на трагическую парадоксальность этой ситуации.

На протяжении многих месяцев развивается в записках другой такой сюжет – вокруг студентки («бесцветная студентка, ниже среднего») по имени Нина (не будем называть ее фамилии). Мобилизованная для работы в госпитале, Нина («комсомолка») получала военный паек. Встретив свое-

го преподавателя случайно на улице (летом 1942 года), она была поражена произошедшей в ней перемене и стала великодушно «забрасывать» небольшие посылки с продуктами (XIV: 78, 20). Фрейденберг мучительно переживала, но принимала такие подношения. «Тяжелый подвиг благотворенья она совершала наивно и с ясным чистым сердцем, не понимая, как он труден и как трудны мы с мамой...» (они страдали «ожогами гордости») (XV: 107, 2). В один страшный день (в январе 1943 года) Фрейденберг и ее мать буквально доходили без хлеба и воды; плача, она молилась ночью, взывая «к милосердию не людей, но жизни», а на следующий день «явилась Нина с хлебом, маслом, кильками, сахаром <...> с доброй своей, загадочной душой» (XVII: 127, 13). Но вот Нина перестала ходить.

То, что я принимала за высоту сердечного чувства, теперь рисовалось мне как преходящее поверхностное увлечение. Ей было интересно, ново и приятно ломать меня и заставлять соглашаться на дележ ее военного пайка. Она меня сломала, завоевала. Теперь интерес был погашен....

Фрейденберг стало казаться, что побуждения Нины сводились к одной только воле к власти. Когда «резвящаяся Нина» явилась вновь, с дарами из своего пайка, Фрейденберг была до того расстроена, что не могла переносить ее присутствия (XVIII: 155, 82). Но вот настала новая, большая беда (болезнь матери зимой 1944 года), и Фрейденберг поду-

мала: «Помочь мне могла одна Нина...» Она обещала заходить, взялась принести медикаменты и снова исчезла: «моя душа, наконец, отшатнулась от нее, уже не могла никогда ни забыть, ни простить ей» (XIX: 164, 75). А как же то, что она называла непосильным обязательством по гроб? Нина упомянута и в послевоенных записках: когда она вернулась на классическое отделение, Фрейденберг пошла на многое, чтобы помочь нерадивой студентке, «моему вечному кредитору», закончить университет, хотя и понимала, что по академическим успехам та не заслуживала диплома; она не могла забыть, что значили блокадные дары хлеба для «бедной голодной матери» (XXIV: 56, 53).

Еще большую драму составляют отношения матери и дочери с Еленой Лившиц, другом семьи на протяжении многих лет. И в этом случае «...было тягостно от нее брать». «Настойчиво, назойливо, ни с чем и ни с кем не считаясь, она навязывала свои услуги и жертвы, полные раболепия и отречения от себя...» (XV: 110, 9) Возникали ситуации, когда Лившиц буквально изгоняли из дома. В другие моменты Фрейденберг пишет, что «Лившиц имела много хороших черт» (XV: 115, 25). Во время болезни матери Фрейденберг позвала ее: «Я написала Лившиц хорошее письмо, и она пришла». «Все мелкое было мною забыто». (Кажется, что обиды были забыты и Лившиц, которая вновь бралась «во всем помочь».) «Человек сложен, многообразен, думала я...» – обобщает Фрейденберг (XIX: 171, 89). После войны, когда ее

отношения с Лившиц опять обострились, Фрейденберг записала: «Романы и драмы бывают не в одной любви. Они и в дружбе, и в мысли» (XXVIII, 89–90).

Однажды она сделала запись о своем понимании того, как ложны и поношения, и восхваления людей, к которым она была склонна: «Характеристики человека обычно лживы. Только одно искусство может человека охарактеризовать. <...> Говорю ли я о маме, о Тамаре, о Раисе, о Лившиц – я везде вру, поношу или восхваляю» (XVI: 119, 8).

Центральная тема блокадных записок Фрейденберг – это драма в семье, отношения с матерью, с которой она делилась своим привилегированным пайком первой категории. И в семейной сфере она отслеживает работу власти – диалектику доминирования и подчинения в условиях государственного распределения ограниченных ресурсов и насильственной совместности. (Об отношениях с матерью пойдет речь ниже.)

«Советская Туамат»

На протяжении всех хроники Фрейденберг пользуется не только категориями антропологического и политического анализа, но и мифологическими понятиями. Так, под ее пером город последовательно предстает как царство мертвых или преисподняя. Декан филологического факультета, который имел влияние на получение привилегированного статуса в системе распределения, «очутился в роли Плутона»: одних спасал, «хлопотал о них», с другими «сводил счеты» (XII-bis: 30, 80). А в одном примечательном эпизоде, к которому мы сейчас обратимся, Фрейденберг описывает очередные неполадки канализации, заливавшей квартиру экскрементами, как вторжение хтонических сил из подземного мира.

15-го февраля [1943 года] артиллерийский обстрел длился 12 часов. Даже в постели, под многими одеялами, я слышала резкий свист пролетающих над нашим домом снарядов. Через 4 дня было еще тяжелей. К голоду и маминому «бытовому психозу» присоединилось бедствие нового порядка. Казалось, я уже прошла через все беды заливавших сверху потолков, переливавшихся раковин, выпиравших уборных. Но нет, не все было испытано. Когда-то страданье заключалось в том, чтоб выпить до дна чашу: так древний человек метафоризировал несчастье. В

советском быту метафорой беды была пролитая чаша...
(XV: 115, 25–26)

Фрейденберг обнажает здесь свои методы и приемы: как «древний человек», она символически осмысляет, или «метафоризирует», переживаемые несчастья, создавая на материале блокадного опыта новую метафору для советского быта: пролитая чаша экскрементов.

Метафорическое и мифологическое осмысление бедствия соседствует с этнографически точным описанием ситуации, с цифрами и хозяйственными терминами:

Я услышала в коридоре мгновенное бульканье труб, и это наполнило меня непередаваемым ужасом. Заглянула в уборную – сосуд снова наполнен до краев дрянью, но инстинкт подсказал, что дело уже не только в этом. Открываю, с замиранием сердца, ванную и вижу: ванна до самых бортов полна черной вонючей жидкости, затянутой сверху ледяным салом. Это страшное зрелище ни с чем несравнимо. Оно ужасней, чем воздушные бомбардировки и обстрелы из тяжелой артиллерии. Что-то жуткое, почти мистическое, в напоре снизу, а не сверху, при закрытом чопе (пробка). Страшно, губительно, угрозой смотрит огромное вместилище с черной, грязной водой. Она бесконечна и необузданна, эта снизу прущая стихия напора и жидкости, эта советская Тиамат, перевозданный хаос и грязь. Я с трудом выносила и поднимала свои ежедневные несколько грязных ведер.

Но могла ли я вычерпать и вынести 30–50 ведер нашей громадной ванны. Ее черное, страшное содержимое смотрело на меня своими бездонными глазами; это наполнение до самых бортов вселяло ужас и ощущение еще никогда не испытанного бедствия. Еще миг – и нас, наш дом, наши комнаты зальет эта вонючая черная жидкость, и она будет снизу подниматься и выпирать, и будет разливаться, и это будет потоп снизу, из неведомой и необузданной, не подвластной взору пучины. А я одна, и слаба, и уже вечер, а на дворе зима. Бежать? Куда? К кому? Как оставить тут беспомощную старуху? (XV: 115, 26)

В этом поразительном описании этнографическая точность бытовой ситуации, вплоть до факта, что пробка ванной была закрыта, до сантехнического термина для пробки («чоп») и подсчета количества ведер, сочетается с символическим осмыслением – в мифологических категориях.

Фрейденберг использовала здесь образ из вавилонского эпоса «Энума Элиш» – пучина Тиамат, хтоническое существо, воплощающее стихию мирового хаоса³².

Как «древний человек», она видит обратный ход канализации как вторжение в ее дом первобытного хаоса, поднима-

³² Сюжет этого мифа использовала в качестве символа советской жизни и современница Фрейденберг – Анна Ахматова. В 1942 году, эвакуированная из блокадного Ленинграда в Ташкент, она начала работать над трагедией о войне и терроре под названием «Энума Элиш». Муж Ахматовой, востоковед Владимир Казимирович Шилейко, перевел поэму на русский язык в 1919–1920 годах, во время другой страшной зимы в осажденном Петрограде.

ющегося из преисподней.

Она создает не только новую метафору беды, основанную на советском быте (пролитая чаша экскрементов), но и новый, политический миф: советская Тиамат. Исследователи мифа связывали Тиамат с Левиафаном³³. Есть все основания считать новый миф, созданный Фрейденберг, – «советская Тиамат» – вариантом мифа о государстве-Левиафане.

Фрейденберг описала это несчастье, которое случилась 15 февраля 1943 года, лишь весной, в апреле. В холодные зимние месяцы она почти ничего не писала: «Вот я пишу в апреле, а ванна так же полна, черна и страшна» (XV: 116, 27). В своей записи она отмечает, что страшная масса жидких экскрементов все еще наполняет ванну до краев. Переходя от мифологической перспективы к политической, она интерпретирует условия блокадной жизни – жизни города и человека – как созданные тираническим режимом и приравнивает блокадный быт к тюремному укладу. Рассматривая это событие ретроспективно, она анализирует изменения в своем теле и психике:

Осадное положение, созданное тиранией, держало город, меня, мое тело и психику, в особом ультра-тюремном укладе. Я уже привыкла считаться только с краями наполненной ванны и смотреть исключительно

³³ О том, что в Левиафане историки мифологии пытались распознать Тиамат, божество из вавилонской легенды о древнем потопе, писал Карл Шмитт (*Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / Пер. с нем. Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 107*).

на ее борту. Не поднялся ли уровень? Перельется сегодня или нет? – Больше ничего меня не интересовало <...> Причина явлений и устранение бедствий – это отошло, как химера. Только борт! Только семантика того тонкого верхнего края, который служит границей жизни и смерти, символом, отображающим мой сегодняшний день (XV: 115, 28).

Занятая самонаблюдением, она понимает, что больше не думает о мире в категориях причинности и не занимается практическим решением проблемы: выступая с позиции туземца («древнего человека»), она воспринимает положение в ванной комнате как вторжение сил хаоса из преисподней. Одновременно, с позиции антрополога, она рассуждает о «семантике» и «символе».

Бронислав Малиновский писал в книге «Миф в примитивной психологии»: «Миф, в том виде, в каком он существует в общине дикарей, то есть в своей живой примитивной форме, является не просто пересказываемой историей, а переживаемой реальностью»³⁴. Сходным образом понимает «первобытное мировоззрение» Фрейденберг в своей «Поэтике сюжета и жанра» (1936), когда она рассуждает о мифологической метафоризации жизненных процессов в образах

³⁴ *Malinowski B. Myth in Primitive Psychology.* London: K. Paul, Trench, Trubner & Co., 1926. P. 21. Использован русский перевод А. П. Хомик (1997), версия в Сети: <http://www.gumer.info/bogoslovBuks/Relig/malin/06.php>. Книга Малиновского «Myth in Primitive Psychology» фигурирует в библиографии «Поэтики сюжета и жанра» Фрейденберг (1936).

еды или рождения и смерти, о персонификации сил природы в образах подземных и надземных богов. Она пишет о метафорической интерпретации действительности; о метафорах, укорененных в предметном, чувственном восприятии мира и в повседневном быте – в теле, в акте еды, в акте смерти, в биологических фактах. Она пишет о метафорах как конкретных образах, соотносенных с опытом, засвидетельствованным этнографией. Для Фрейденберг как ученого, исследователя мифа (как и для Малиновского – полевого этнографа примитивных сообществ), мифологические метафоры – это не тропы, подобные тем, которые встречаются в современных романах, – это форма реального человеческого опыта³⁵. В записках о блокаде Фрейденберг не только исходит из такого понимания мифа в своем анализе блокадного общества: она приписывает мифологическое мироощущение (без причин и следствий – только образы, в их чувственной конкретности) самой себе. Она обобщает и мифологизирует явления жизни.

³⁵ О понимании мифологической метафоры в работах Фрейденберг неоднократно писали исследователи. См. обобщающую работу: *Martin R. F. Against Ornament: O. M. Freidenberg's Concept of Metaphor in Ancient and Modern Contexts // Persistent Forms: Explorations in Historical Poetics / Ed. I. Kliger and V. Maslov. New York: Fordham University Press, 2016. P. 274–313.* Согласно исследователям, среди предшественников ее понимания мифа и мифологических метафор – Люсьен Леви-Брюль, Герман Узенер, Эрнст Кассирер и ее современник, соратник и друг И. Г. Франк-Каменецкий.

«Сталинский кровавый режим и слепота матери замучили, как в застенке, мою жизнь»

На протяжении всех блокадных записок Фрейденберг подробно описывает тяжелую драму своих отношений с матерью, и описывает в политических категориях, как вариант тирании.

Уже в первой блокадной тетради она пишет о психологической регрессии, об изменении ролей в семье, об обидах и обвинениях, о круге взаимного раздражения: «С некоторых пор мама становилась очень раздражительна. <...> Как ребенок, она считала виновной во многом меня и совершенно не понимала причинности вещей. Я раздражалась этим» (XII-bis: 24, 65).

Фрейденберг немедленно обобщает: в ситуации голода и бытовых мучений «в каждой семье шла эта разрушительная работа ссор, неприязни, ожесточения» (XII-bis: 24, 66). То же самое было повсюду:

В каждом доме, в каждой семье происходило то же самое в самых отвратительных формах. Люди обезумели от голода и подорванных сил. Сходили с ума, плакали, публично визжали, дрались, в трамваях увечили друг друга (XIV: 80, 26).

День ото дня она фиксирует ход такой разрушительной работы в собственной семье и в своем сознании. «Моя мысль постоянно работала над взаимоотношениями с матерью. Я думала об этом днем и ночью, на улице и в очередях, за всякой работой и роздыхом...» (XV: 118, 35)

Она приходит к парадоксальному выводу, что именно благодаря своей слабости и зависимости мать доминировала над сильной дочерью: «...она была беспомощной, бестолковой, лишённой инициативы и смелости. Не командовать бы ей, а подчиняться и покорствоваться; так нет, она сломила меня...» (XIV: 80, 24–25)

Фрейденберг исследует воздействие власти на человека, как в государственной сфере, так и в интимной. Она внимательно отслеживает диалектику подчинения и доминирования. (Именно в этом смысл поразительного замечания в дневниковой записи от 27 мая 1942 года, процитированного выше: «Сталинский кровавый режим и слепота матери замутили, как в застенке, мою жизнь» (XIII: 59, 90).)

От нее не укрылись парадоксальные аспекты ситуации; она понимает и то, что обвиняла мать в тех низких эмоциях, которые она сама испытывала по отношению к ней: «Я страдала от того, что в мою жизнь вошла эта низкая стихия аффекта и внесла безобразие и дисгармонию в мою чистую сферу; за это я сердилась на мать и была унижена ею» (XIV: 80, 25). Но рефлексия не облегчала ее эмоционального состояния: «Моя ожесточенность шла в прямой пропорции к

анализу, который я день и ночь производила над матерью и нашими отношениями» (XIV: 80, 25).

Прибегала она и к средству, которое достойно не исследователя, производившего анализ, а «древнего человека» (но и это не помогало): «Я призывала бога терпенья. Но где он, как его имя? Такого бога не было» (XIII: 44, 38).

Документируя, как они жили, день за днем, месяц за месяцем, она фиксирует меняющуюся оценку и себя, и другого:

Мама теряла душевное равновесие. Ее раздражительность становилась патологической. Она мучила меня <...> Она винила меня во всем <...> Я терпела, сносила и теперь, как раньше (XIII: 44, 37–38).

Но и я уже была не собою прежней. Мой тихий нрав, мое терпение были утеряны. Чахлая, злая, с отвислыми щеками, без груди и бедер, я проходила через ожесточенье и раздражительность (XIV: 80, 25).

Фиксирует она и другие моменты, другие эмоции:

Мы лежали рядом по вечерам, мы сидели рядом у печки; мама жаловалась мне на самое себя; мы все прощали друг другу и друг друга жалели и понимали (XIII: 44, 39).

Но были и другие часы. Тогда мы открывали друг другу души, и одна находила одинаковые переживания в другой, и мы вместе ужасались и скорбели (XIV: 80, 25).

В течение всех блокадных записок Фрейденберг докумен-

тирует и эту диалектику «ожесточения» и «жалости»³⁶.

Сцены, ссоры, укоры, крики, попреки, обвинения и обиды занимают огромное место в записках, и, фиксируя их, Фрейденберг понимает и тривиальность каждого конкретного повода, и огромную значительность этих происшествий. Они спорили о трех картофелинах (поджарить их на остатках льняного масла, чтобы было второе, или положить в суп), о чае (дочь считала, что не надо столько пить), о преимуществах картошки и крупы перед хлебом («мама алкала хлеба») (XVIII: 152, 70). Наступил момент – бытовая ссора в кухне, начавшаяся со спора о порции гороха, – когда Фрейденберг испытала «голый аффект», испугавший ее своей интенсивностью: «Мне казалось, добром этого не кончить: „Или я ее убью – или она меня“» (XIV: 93, 61). Чтобы справиться со своим состоянием, она схватила листок бумаги и сделала запись «для этих записок» (XIV: 93, 61).

Фрейденберг имела основания беспокоиться. В записках она описала историю женщины, близкого друга семьи, Раисы (нет нужды называть ее фамилию), которая «в припадке

³⁶ С такой же беспощадной откровенностью описала семейную драму в ситуации блокады Лидия Гинзбург в «Рассказе о жалости и о жестокости», причем она пользовалась теми же ключевыми словами. «Рассказ» был написан, по-видимому, в 1943 или 1944 году, вскоре после смерти ее матери, и эта ситуация представлена в художественной обработке. Обнаруженный в архиве Гинзбург после ее смерти, этот текст был впервые опубликован в недавние годы. См.: *Гинзбург Л. Проходящие характеры*. С. 17–59, 557–558. Об этом тексте см.: *Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург. Реальность в поисках литературы / Пер. с англ. С. Силаковой*. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Глава 5.

аффекта» привязала свою мать к стулу и подожгла квартиру; погибли обе. Раиса заранее отвела ребенка в ясли, но когда Фрейденберг с подругой наконец нашли эти ясли, они узнали, что девочка умерла от кори (XIII: 39, 19; XIII: 58, 86–87: 64, 105–107). Позже она вспоминала «эту потрясающую семейную драму», когда ее вновь настигали «больные мысли и чувства» о матери (XVI: 119, 8–9).

Фрейденберг живет в сознании, что создавшаяся ситуация является для нее неприемлемой, и именно в этой связи она прибегает к метафоре, которая впоследствии стала заглавием ее блокадных записок: «осада человека».

Я считала невозможным сожительство двух близких людей в обстановке ссор, молчанья, забастовок, деланья «назло». Это было мне невыносимо, эта духовная неопрятность и осада внутри семьи. Но она крепко сидела и здесь, пробираясь еще глубже, в самое сердце человека, удушая и преследуя его везде, даже наедине, даже ночью, даже в своем глубоком «я» (XIV: 106, 109).

Как и в другие моменты, Фрейденберг отождествляет здесь состояние города с состоянием человека и семьи, отслеживая последствия «осады» внутри семьи и в самом глубоком «я».

Работая мыслью над взаимоотношениями с матерью, Фрейденберг описывает свои эмоции одновременно и с психологической, и с политической точки зрения. Так, анализируя историю семьи, она постепенно приходит к мысли, что

причины блокадного ожесточения лежат в их прошлом и что в бессознательном («в глубине, неподсудной сознанию») она обвиняет мать в «тирании». (Фрейденберг использовала то же слово в применении к государственной власти: «Осадное положение, созданное тиранией».) Ей кажется, что во все время их совместной жизни мать доминировала над ней и вторгалась в ее жизнь:

Я не прощала ей тирании, с какой она разрушала все здание моей внутренней жизни. Она вторгалась в любовь <...> Она вторгалась в мои дружбы и воинственно становилась между мною и моими друзьями. Она подтачивала мою науку, сделав меня прислугой (XV: 118, 35).

Фрейденберг понимает, что такие ретроспективные суждения не улучшают ее положения, но и это не приносит облегчения:

Этот ретроспективный взгляд на жизнь, даром загубленную, впитанную без пользы чужой душой, жег меня днем и ночью. Нигде я не могла от него укрыться. Он настигал меня на улице, в постели, за столом и за книгой, он рос во мне, подобно злокачественной опухоли, и наполнял меня ожесточеньем.

Мать между тем находилась в состоянии постоянного и язвительного, возбужденного раздраженья. В такой атмосфере мне приходилось жить. Она во всем корила меня. Если мое состояние было мирное, я вечно в чем-то оправдывалась – <...>

в отсутствии канализации, в плохих макаронах, в войне (XV: 118, 36).

Из этого описания, опирающегося на фразеологию войны и мира, кажется, что состояние войны установилось и в семейном быту.

Но вот от ретроспективного взгляда на жизнь Фрейденберг возвращается к нынешнему моменту. Ожесточение сменяется жалостью. Записки изображают состояние эмпатии: она начинает «покидать себя» и входить в положение матери – положение, определяемое административным термином «иждивенка»:

Потом я смягчалась и жалела. Моя мольба просила теперь одного: чтоб я могла забыть, простить; победить светом дракона в своей душе. И я стала перевоплощаться в материнскую природу и покидать себя. Я почувствовала себя хилой, ветхой, дряблой. Иждивенка – вот кто я была, лишенная самостоятельности, одинокая в душе, все утратившая, всех пережившая, в тягость и мученье мне, единственному живому дитяти.

Я трепетала от сострадания. Все я делала, чтоб изменить этот роковой ход вещей.

Получая продукты, я поровну делила между нами, чтоб она ела и пила, сколько и когда хотела (XVI: 118, 1–2).

Заметим, что в этом поразительном пассаже, местоимение «я» означает то «я» – дочь («чтоб я могла забыть, про-

стить»), то «я» – мать («[я] почувствовала себя хилой»), по отношению ко «мне» – дочери.

Затем от психологического анализа Фрейденберг переходит к политическому: фраза «[п]олучая продукты» указывает на обстоятельства, созданные государственной тиранией, а именно на положение взаимной материальной и моральной зависимости, созданное системой распределения продовольствия в осажденном городе.

За словами «[п]олучая продукты, я поровну делила между нами» стоит ситуация, в которую попали многие блокадные семьи. Старики-пенсионеры и дети, считавшиеся «иждивенцами», получали такой низкий паек, что для их выживания требовалась жертва со стороны работавших членов семьи, что могло оказаться гибельным для обеих сторон.

Фрейденберг не раз описывает и эту социальную ситуацию, и ее сложные эмоциональные последствия, анализируя диалектику власти в семье:

Глядя на нее со стороны, я утешалась тем (особенно позже, зимой), что ее преодоление двух ужасных зим уже само по себе, совершенно объективно, говорит в мою пользу. Я делилась с нею половиной своей жизни и своего дыхания. С пайком, с рабочей карточкой я могла бы прекрасно жить, не испытывая голода; весь ужас быта был ею взвален на меня, т. к. она ничем не хотела и не умела поступаться, а я не ломала ее старинного уклада, в котором ей предоставляла возможность проводить старость. Но она лишала меня

и этого утешенья. Однажды она сказала:

– Не думай, что я обязана тебе тем, что в такое время жива, что это ты меня так хорошо содержишь и кормишь. Мне дана здоровая натура, а не ты это. Я обязана только своим родителям (XIV: 90, 50–51).

Как предполагает дочь, признание приносимой ею жертвы было психологически неприемлемо для матери: принимая еду, мать не позволяет дочери морального превосходства, утверждая при этом силу родительского влияния на детей.

Вскоре после того, как была сделана эта болезненная запись, положение, в которое были поставлены мать и дочь, изменилось. Пришел день (дни смешивались в памяти, но этот день, 31 августа 1942 года, запомнился), когда Фрейденберг сообщили, что она лишается привилегии «рабочей карточки» (так называемые рабочие карточки, или карточки «первой категории», полагались не только рабочим, но и, среди прочих привилегированных, докторам наук и профессорам). Возникла реальная перспектива голодной смерти для обеих.

Фрейденберг подробно описывает свои усилия – шаг за шагом, в течение пяти дней – добиться документального подтверждения своего ранга и статуса, и таким образом – «права на хлеб», а значит, и права на жизнь. С этой целью она посетила различных официальных лиц («советских чиновников» и «советских чиновниц») в университете, в Союзе высшей школы, в Доме ученых, в районном Совете депута-

тов трудящихся и в других городских организациях, вплоть до городского комитета партии в Смольном (XIV: 92, 53–67).

Впоследствии такие хлопоты повторялись еще не раз, и Фрейденберг приводит подробные описания этого процесса. Ситуация стала особенно острой после того, как Фрейденберг, которая не последовала с университетом в эвакуацию в Саратов, оказалась без штатного места. Хлопотам о карточке первой категории и получению спецпайка в Доме ученых летом 1943 года посвящены десятки страниц (в тетрадях XVII и XVIII). Фрейденберг тщательно описывает хождение за справками и удостоверениями, подачу заявлений, получение резолюций, попытки добиться приема (и многочасовые ожидания приема) у представителей власти, большой и малой, разговоры с ответственными лицами и их секретаршами.

Секретарши занимают в ее описаниях особенно важное место – это первая и непосредственная инстанция власти, с которой сталкивался человек, и именно микроскопическая власть надменной секретарши, как показывает Фрейденберг, может оказаться роковой для человека, вынужденного добиваться права на жизнь (XVIII: 136, 3–4, 6, 29, 31, 35). Фрейденберг включает образ секретарши и машинистки в систему работы сталинской государственной машины: «униженья перед машинисткой, униженья перед секретаршей с распущенными волосами. <...> О эта страшная сталинская машина! О, эти колеса папок, резолюций, сухих сердец, распущен-

ных волос и юбок до колен, злобных взоров, нечеловеческой черствости» (XVIII: 144, 38)³⁷.

Сознавала ли Фрейденберг, что в борьбе за выживание она и сама принимала участие в той системе привилегий, которую осуждала? Она не писала об этом прямо. Но закончив описание своих мытарств по восстановлению карточки первой категории в сентябре-октябре 1942 года, она рассуждала о «сознании собственного негодяйства», которое складывалось «из компромиссов, ссор и оскорблений близких», и подвела итог в поразительном метафорическом образе: «Да, душа уже была запятнана, ее чистота утрачена. Жизнь ожесточала и срывала покровы с заветного и стыдливого. Функционировал замаранный тощий зад» (XIV: 93, 60).

Поясним, что в античной и средневековой мифологии замаранный экскрементами зад функционировал как знак телесного и морального низа и связывался с образом преисподней³⁸. Как и в эпизоде с «советской Тиамат», в страшную

³⁷ Немалое место занимает анализ власти секретарш и в блокадных записках Лидии Гинзбург (см. *Гинзбург Л.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 725–726). Сандомирская так описала анализ Гинзбург: когда человек, которому грозит голодная смерть, обращается за карточками в соответствующие органы, «новый Левиафан встречает его в облике секретарши» (*Сандомирская И.* Блокада в слове. С. 255–256).

³⁸ Так описал эту мифологическую символику Михаил Бахтин в книге о Рабле, написанной в 1940-е годы. О мифологической символике зада упоминала в научных трудах и сама Фрейденберг (см. *Поэтика сюжета и жанра.* С. 306–307, сн. 116). О связях между Бахтиным и Фрейденберг (некоторые исследователи полагают, что Бахтин использовал идеи Фрейденберг) см.: *Perlina, N. Ol'ga*

минуту Фрейденберг прибегает к мифологическим образам и концептуальному аппарату своей профессии.

«Наша драма была в том, что нас заперли и забили в общий склеп»

Итак, Фрейденберг рассуждает о своей семейной драме – и одновременно о драме отношений человека с государственной властью – в ключе политической антропологии, выдвигая весомые теоретические заключения. Она сравнивает блокадный быт, в условиях которого жили они с матерью (и люди вокруг них), с тюремным заключением, причем в центре внимания опять оказывается тема физиологических отклонений в ситуации насильственной совместности:

Наша драма была в том, что нас заперли и забили в общий склеп. Цивилизация поняла индивидуальные особенности каждого человека и соорудила дома, квартиры, комнаты, как столовая, гостиная, кабинет, спальня, детская. Она поняла, что человек – не скот; что самых близких людей нужно отделять и уединять. Совместное, в кучу, проживание было изобретено цивилизацией как форма государственной кары за преступление. Только в тюрьме люди скучены; если они в одной и той же комнате совместно проводят день и спят, и испражняются тут же, где едят, – то это и есть тюрьма. Тирания создала из этого нормативный быт (XVI: 119, 6).

Фрейденберг приходит к важному выводу: находясь в

условиях, когда люди, запертые в замкнутом пространстве, вынуждены есть и испражняться на виду друг у друга, блокадное население оказалось в ситуации, подобной тюрьме. Еще более важным является вывод о нормализации ситуации тюремного заключения.

Фрейденберг обращается к идее нормализации исключительного в блокадном быту неоднократно, приводя подробную аргументацию. Так, она рассуждает, что если в начале катастрофы «большевики» растерялись, потом они пришли в себя и «объявили непереносимое, исключительное состояние – нормой»:

Было как бы декретировано, что все обстоит «в основном благополучно» и только имеет отдельные «неполадки», «трудности» и «лишения». Тем самым методы временных пыток получали постоянство и узаконение как один из компонентов жизни. Человеческая природа отменялась. Есть не нужно было. Голодание было признано нормативным явлением (XIV: 89, 47).

Она поясняет идею нормализации и на другом материале, описывая ставшие бытовым явлением артиллерийские обстрелы гражданского населения. (Именно в этом контексте она приравнивает два тиранических режима, Гитлера и Сталина.)

Это двойное варварство, Гитлера и Сталина, продолжалось теперь изо дня в день, часами по всем

районам одновременно. Кровь стыла в жилах города.

История знала осады и катастрофы. Но еще никогда человеческие бедствия не бывали задуманы в виде нормативного бытового явления (XVIII: 138, 10).

Понятие нормализации катастрофы позволяет ей предположить, что русский, или советский, человек погибал не так, как «европеец». Советский человек «обладал полным безразличием к смерти» (XII-bis: 23, 62). В другой раз она пояснила: «Он подчинялся обстрелам и молча умирал в расцвете дня и здоровья, как умирал в застенках чеки, в изнуреньях концентрационных лагерей» (XVIII: 138, 10–11).

За этим следует новый вывод. Фрейденберг рассуждает о том, как осажденный «русский человек» относится к другому:

Но там, где русский человек оставался с глазу на глаз не с властью, а с человеком, он становился зверем. Из него выпирал весь его рабский терпеливый крик. Грубость и злоба женщин в очередях, на рынке, в трамвае, у дворового крана была поразительной, изумлявшей своими дикими формами (XVIII: 138, 11).

Такая динамика взаимоотношений между людьми кажется ей результатом тиранической власти. Будучи врагом другому человеку, русский человек оставался кроток по отношению даже к мелким, бытовым представителям власти:

Власть нещадно мучила их, этих морально опустошенных людей, выветренных дотла. В отношении

к наглым продавщицам, к завмагам, к наглым управхозам, они были кротки пуще Франциска Ассизского. Малейший протест против властей, даже самых микроскопических, вызывал их бурное и злобное к «протестантству» заступничество за власть (XVIII: 138, 11).

Так, на материале блокады Фрейденберг анализирует диалектику доминирования и подчинения в советском обществе, от отношений между запертыми в одной комнате членами семьи до взаимодействия между продавцом и покупателем, управхозом и съемщиком.

И в блокадных, и в послевоенных записках Фрейденберг с болезненной настойчивостью пишет о своем разочаровании в людях, и, как она сама понимает, она склонна плохо говорить о близких. При этом она делает обобщения о драме человеческих отношений как части политической системы сталинского государства:

Плохие люди есть везде, во всех странах. Зависть, клевета, интриги у всех наций на свете, как испражнения – у всех милордов и миледи. Это верно, но нигде никогда эти духовные нечистоты не носят, как при Сталине, характера организованной общественной системы. Здесь человека травят, гнетут, удушают и преследуют в официальном, узаконенном порядке, всем государственным аппаратом во всей его страшной мощи (XVII: 129, 19).

Она приходит к выводу, что именно давление государства

приводит к враждебным отношениям между людьми: «эта сталинская система была такова, что в ней находили питательную среду самые страшные людские бактерии – продажность, предательство, ложь, корыстолюбие, подлость» (XVII: 129, 20).

Эти теоретические рассуждения о свойствах власти прерывают рассказ об отношениях Фрейденберг и ее матери со студенткой-комсомолкой Ниной, которая делилась с ними своим военным пайком. Так сталинское государство определяло всю жизнь человека.

Однажды, в ноябре 1943 года, раздраженная тем, что в годовщину революции имя Сталина постоянно повторялось по радио, Фрейденберг разразилась замечательной тирадой о вездесущности самого Сталина:

Это был Сталин туда и Сталин сюда, Сталин тут и Сталин там. Вся жизнь людей, весь быт людей, весь отдых людей фаршировались, как колбаса, этим Сталиным. Нельзя было ни пойти на кухню, ни сесть на горшок, ни пообедать или выйти на улицу, чтоб Сталин не лез следом. Он забирался в кишки и в душу, ломился в мозг, забивал собой все дыры и отверстия, бежал по пятам за человеком, звонил к нему в комнату, лез в кровать под одеяло, преследовал память и сон (XVIII: 156, 85).

Именно каждодневная бытовая рутина послужили для Фрейденберг материалом для крупных исторических обоб-

щений:

Не нужно описывать сражений и кровопролития, великих мук и дел. Достаточно для освещения эпохи показать обыкновенную повседневность в ее среднем, самом обычном уровне (XVIII: 152, 72).

Такие идеи, как нормализация исключительного в бытовой жизни, вражда («война») всех против всех (в семье и на улице) и всепроникающий характер власти Сталина, который забирался человеку в постель, в уборную, в душу, в кишки, станут опорными принципами той общей теории сталинского государства, которую, начиная с блокады, Фрейденберг разрабатывает в своих записках.

«Только катастрофа могла вывести нас из этой преисподней»

25 ноября 1943 года с матерью Фрейденберг случился удар, и эта новая катастрофа вывела их из состояния взаимной вражды, которую она теперь воспринимает как падение в преисподнюю:

Только катастрофа могла вывести нас из этой преисподней, из которой мы не могли выбраться, как ни страдали, собственными силами. Все теперь было ясно исторически и биографически ясно. Я не в состоянии была пережить муки воспоминаний и угрызений поруганной совести. Мама вставала в ее настоящем духовном облике, в ее ужасных страданиях, в ее глубочайшей ко мне любви, преданности, жалости. Я вспоминала ее голод, ее жажду хлеба, как я не покупала его и не верила ей, как задавала себе вопрос – какова же ее функция в моей жизни, зачем впилась она в мою жизнь. Я сгорала от боли. Все вещи вдруг получили свой истинный смысл. Человеческое паденье, мое паденье, мою слепоту я почти ощущала руками, я осызала их (XIX: 159, 66).

Сейчас, ввиду смерти, тот ретроспективный взгляд на прошлую жизнь с матерью как на семейную тиранию, который она описала в записях предыдущих месяцев, представ-

ляется ей не только аберрацией сознания, но и проступком, вызывавшим мучительные угрызения совести.

Состояние матери после удара Фрейденберг описывает как воскресение из мертвых и возвращение к подлинному (прежнему) человеческому облику:

Потом рядом с бредом стало появляться ясное логическое сознание. Мама воскресала. Но она воскресла не той, что была в блокаду, а прежней собой, той нежной, мягкой, бесконечно светлой и дорогой матерью... (XIX: 163, 71)

Мать и дочь как бы вступили в пространство жизни после смерти, и Фрейденберг возвращается к образу преисподней – царства смерти, в которое входят и из которого выходят³⁹. В нем правит мифологическое чудовище: «Что могло вывести нас из этой преисподней, куда загнал человека кровавый спрут? – Только катастрофа. Только полное перерождение. И мы его проходили» (XIX: 163, 71).

Теперь мать и дочь находятся в состоянии абсолютно-го мира: «Я полностью, безоговорочно примирилась с мамой» (XIX: 163, 72).

Фрейденберг изображает их состояние как невозможную при жизни гармонию – несмотря на подробно описанные фи-

³⁹ Как Фрейденберг писала в лекциях «Введение в теорию античного фольклора», над которыми она продолжала работать и во время блокады, герой первобытного хтонического мифа «выходит из преисподней, ходит, заходит» (Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. 2-е изд. С. 37).

зические страдания матери и страшные бытовые условия. Для дочери это была возможность искупления, которая осталась недоступной другим блокадникам, находившимся в том же положении, но не обладавшим психологическими и риторическими ресурсами мифологического мышления⁴⁰.

В одном из таких описаний Фрейденберг создает картину «полного духовного и биологического единства» – слияние души (дыхания) и тела матери и дочери в единое целое:

Мы пережили все счастье новой встречи. Наши сердца исходили от любви. Голова к голове, прильнув друг к другу, мы ловили дыхание одна другой, мы упивались чувством бесконечной близости и полного духовного и биологического единства. <...> Нет, теперь уже нам не оторваться! Эта была основа моя, ткань моей жизни. Все, что звалось мною, было в ней (XIX: 163, 71).

Фразеологический оборот «счастье новой встречи» указывает на образ райской жизни после смерти.

В новой жизни мать и дочь меняются ролями – дочь ухаживает за матерью и ее парализованным телом как за ребен-

⁴⁰ Так, Лидия Гинзбург в «Рассказе о жалости и о жестокости» описывает безысходные муки совести, которые испытывает ее герой после смерти «тетки» (в реальной жизни автора – матери) при воспоминании о безобразных сценах, пережитых в пик голода. Гинзбург и Фрейденберг, которые писали независимо друг от друга, очень близки как в описании отдельных деталей сцен и ссор, так и в анализе ситуации взаимной зависимости обладателя «рабочей карточки» и «иждивенца». Однако для Гинзбург смерть – это абсолютный конец, а не начало новой жизни.

ком: «Я ее причесывала, мыла, содержала в чистоте и сухости. Я коски ей заплетала вокруг головы» (XIX: 163, 71). «Гладила и ласкала ее седые волосы, заплетенные в коски с ленточками» (XIX: 165, 77).

Как и в других описаниях блокадного тела, большое место занимают еда и испражнение, но в рамках метафоры матери и ребенка (с уменьшительными суффиксами) эти отправления лишены отвратительного. Дочь кормила мать каждые два часа, с ложки, «кашкой»; «два раза в этот день я убирала ее жидкий стул, обмывая тепленькой водой» (XX: 179, 103).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.